

Николай Богословский

80р
Б. 4.
Р. 79854

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ



советский писатель 1944

НИКОЛАЙ БОГОСЛОВСКИЙ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

книга первая

ГОДЫ ИСКАНИЙ



советский писатель
м о с к в о
1946

199854.
198671

8(с)р
Б-74.

+92 Чернышевский

Ш

Редактор Н. Глаголев

А 2715.

Подписана к печати 15/III 1944 г.

Печ. л. 10³/₄, авт. л. 8,91, уч. изд. л. 9,17.

Тираж 15.000.


Заказ 2822.

Цена 4 руб. 50 коп.

Типография «Известий Советов Депутатов
Трудищихся СССР» Москва, Пушкинская пл. 5.



Н. Г. Чернышевский (1853).



Глава первая

В 1863 году, во время заключения в Петропавловской крепости, Чернышевский несколько раз принимался писать автобиографию.

Она была задумана им широко, но выполнена только частично.

В иных отношениях шутивно, а отчасти и серьезно он угодоблял писателю этой автобиографии историческому повествованию, в котором он должен был бы, начав со времен «доисторических», с легенд и мифов, перейти постепенно к фактам, к живым лицам, к действительной жизни.

Он хотел воскресить здесь окружение своих ближайших предков, их понятия, бытовой уклад, обстановку, чтобы дать читателям полное представление о тех впечатлениях, под влиянием которых выросло поколение среднего сословия, родившееся на свет в коренных областях России в двадцатых и тридцатых годах XIX века.

Насколько широк был замысел писателя, можно судить уже потому, что дошедшая до нас часть автобиографии, вернее вступление к ней, — по размерам своим является довольно объемистой книгой. Полная автобиография заняла бы, конечно, не один том. Но Чернышевский только и ограничился введением, почти ничего не успев рассказать о себе.

Частые отступления, целые вставные повести, уводящие нас в сторону («я всегда готов на услуги, которых от меня не ждут», — признавался тут Чернышевский), отвлекали писателя от прямой задачи настолько, что он не успел дойти в повествовании даже до ученической поры своей жизни.

По рассказам бабушки со стороны матери, П. И. Го-

лубевой, корни «родословного древа» были Чернышевскому известны смутно, — не глубже, чем на полвека до собственного рождения. Так запомнился ему рассказ о переезде семьи прадеда в конце XVIII века из одного прихода в другой.

Чернышевский даже не знал точно, священником или дьяконом был его прадед, не знал даже и фамилии его. Генеалогические сведения о предках со стороны отца были не богаче и начинались годом его рождения (1793). Да и это Чернышевский запомнил по послужному списку отца, который он перечитывал сотни раз, перелистывая «Клировые ведомости» города Саратова, постоянно лежавшие на рабочем столе Гавриила Ивановича. Он не поинтересовался узнать у отца отчество своего деда («кажется, было время пополнить генеалогию с его стороны, хотя б спросив, как звали дедушку, — не пришло в голову спросить, и ему не пришло в голову сказать»).

Это пренебрежение Чернышевского к внешней стороне своей небогатой родословной понятно. Жизнь его предков по отцу была бедна и однообразна, как только могло быть тогда бедно и однообразно существовавшие сельского духовенства.

Сын дьякона из села Чернышева Чембарского уезда Пензенской губернии, Гавриил Иванович фамилию свою получил при поступлении в семинарию по названию родного села.

Еще в детстве лишился он отца, и овдовевшая мать, не имея средств кормить и воспитывать сына, привела его в грязных лаптях к тамбовскому архиерею и, кланяясь в ноги, со слезами на глазах просила не оставить ее. Архиерей прежде всего приказал службе отрезать грязные мохры онуч, отчего мальчик расплакался. Из жалости его определили в тамбовское духовное училище, на «казенный кошт». Мальчик вовсе не знал грамоты, но, видимо, жаждал учиться.

В духовном училище он пробыл до 1803 года, весьма успешно окончил его и был переведен в пензенскую семинарию. По окончании ее Гавриила Ивановича, как «лучшего ученика», определил учителем «малого», то есть в низшем классе преподаваемого, греческого языка в той же пензенской семинарии (1812).

Затем последовали назначения его сениором, библиотекарем, учителем пиитического класса семинарии.

Есть свидетельства, что ему могло бы открыться научное поприще.

Но в 1818 году случай изменил течение его педагогической карьеры.

В тот год в Саратове умер протоиерей Сергиевской церкви Г. И. Голубев, «человек честный, ученый и любимый многими; умел он очень хорошо вкрадываться в людей, отчего многие звали его «русским иезуитом». Дом имел каменный и оставил денег довольно», — так характеризовал Голубева в своем дневнике протопоп Скопин.

И вот тогдашний губернатор Саратова Панчулидзеv обратился к пензенскому архиерею с просьбою назначить на место Голубева «лучшего студента» из окончивших семинарию, с тем чтобы получивший назначение женился на дочери покойного протоиерея.

Не забывая и о своих интересах, губернатор добавлял, что просит прислать человека достойного, ученого, но не богатого, дабы тот взялся заодно преподавать науки губернаторским детям. Выбор архиерея пал на Г. И. Чернышевского, который вообще обращал на себя внимание, как человек незаурядный¹.

Предложение это было принято Гавриилом Ивановичем. «Хорошо украшенная» Сергиевская церковь считалась в Саратове аристократическою.

Самой невесте в ту пору не исполнилось и пятнадцати лет. Но столь раннее вступление в брак было тогда обычным явлением.

Вскоре после свадьбы Гавриила Ивановича Чернышевского и Евгении Егоровны Голубевой состоялось и рукоположение его в священники «унаследованной» им Сергиевской церкви.

В приданое за Голубевой он получил дом на боль-

¹ А. Е. Пыпина рассказывает в своих воспоминаниях, что за год или за два до описываемого здесь случая Гавриил Иванович имел предложение от знаменитого Сперанского (находявшегося в опале на посту пензенского губернатора в 1816—1819 гг.) ехать с ним в Петербург, куда Сперанский, видимо, надеялся вернуться. Мать Гавриила Ивановича решительно воспротивилась этому и убедила его отказаться. (Сперанский же привлек другого пензенского семинариста К. Г. Репинского, который стал его личным секретарем, сделал крупную карьеру и впоследствии был сенатором.)

шом участке земли, спускавшемся от Сергиевской улицы вниз к Волге.

Преподаватель пензенской семинарии, довольно неожиданно для себя, оказался возведенным в сан священника. Он вошел в семью, руководимую суровой, твердой, расчетливой и властной вдовой Голубева.

Выдав замуж свою старшую дочь Евгению Егоровну, с целью оставить в «семейном владении» Сергиевскую церковь, Голубева впоследствии устроила брак и для младшей своей дочери Александры Егоровны. Если в первом случае ей был нужен кандидат в священники, то во втором она искала уже лицо дворянского происхождения. Не честолюбивые соображения толкали ее на это, а «житейская» необходимость. У Голубевых была многочисленная прислуга из крепостных, еще «при батюшке купленных», приобретение которых приходилось оформлять на чужое имя, подыскивая подставное лицо дворянского звания.

Протоиерейша стремилась выдать младшую дочь за дворянина и сделала это, как только представился случай, когда Александре Егоровне исполнилось пятнадцать лет. «Меня выдала мать именно затем, чтобы перевести на мое имя крестьян...», — писала Александра Егоровна.

Женившись на Евгении Егоровне, Гавриил Иванович одинаково заботливо относился и к ней и к младшей сестре ее Александре.

После смерти Котляревского, первого мужа Александры Егоровны, ее, двадцатилетнюю, с тремя детьми, мать вторично выдала замуж за дворянина Н. Д. Пыпина. Первоначально Пыпины и Чернышевские жили вместе, а потом, с увеличением семьи, Пыпины поместились во флигеле на том же дворе.

Семьи сестер были все время неразрывно связаны. Это обстоятельство имело немаловажное значение в жизни Николая Гавриловича Чернышевского и позволило ему впоследствии говорить, что не только отец и мать, но и дядя и тетка были для него теми людьми, жизнью которых формировался его характер. «Когда две сестры живут вместе, — писал Чернышевский, — и любят друг друга, и мужья их тоже, то дядя и тетка не многим разнятся от отца и матери в чувствах, с которыми вырастает человек».

Глава вторая

Двенадцатого (24) июля 1828 года Гавриил Иванович записал: «Поутру в 9 часов родился сын Николай». Радость родителей по случаю рождения сына была безгранична. Пиршество, устроенное ими в честь этого события, надолго осталось в памяти саратовцев.

К этому времени Гавриил Иванович уже успел сделать довольно солидную духовную карьеру и достиг известного положения в обществе. Он был протоиереем, благочинным, — членом консистории. Он добился некоторых наград (вроде фиолетовой скуфы) за успехи в увещании раскольников и по другим делам, касающимся старообрядцев.

По должности, как благочинный и как священник богатого прихода, в котором жил губернатор и некоторые видные саратовские помещики, Гавриил Иванович имел отношение и к «высшему кругу». Но лишь должностным образом, то есть в тех случаях, когда возникала надобность объясниться с благочинным: то у жениха не хватает документов, то надобно хлопотать о разрешении брака до совершеннолетия невесты. А вообще, по представлению самого Чернышевского, семейство его отца «не принадлежало даже и к среднему кругу губернского почета и блеска».

Оно не бедствовало, не нуждалось. Но недостаток подерживался здесь непрестанной работой старших и носил довольно своеобразный характер. Хозяйственный уклад семей своего отца и Пыпиных Н. Г. Чернышевский в одном из писем называет безденежным. Было все жизненно необходимое, но не было денег.

По позднейшим воспоминаниям сверстников Чернышевского (из более бедных семей) видно, что он казался им чуть ли не барчуком, в дом которого они стеснялись заходить. Такое представление основывалось на чисто внешних признаках. Мальчик был опрятно и хорошо одет, в училище он приезжал иногда на лошади.

Сын протопота, владеющего хорошим домом со множеством прислуги, мог казаться детям многосемейных чиновников, ютившихся в нищих квартирах, баловнем счастья. Но вот как рисует семейную обстановку сам Чернышевский: «Мы были очень небогаты. В Петербурге самые бедные из людей... даже нищие не знают теперь,

что такое был «гривенник» в нашем не бедном семействе. Оно было не бедно. Пищи было много. И одежды. Но денег никогда не было».

Все старшие были постоянно заняты. Гавриил Иванович и Пыпин (работавший по выборам) с утра до ночи писали каждый свои должностные бумаги. Отец Чернышевского был так завален работою, что с трудом находил время побывать в гостях. По расчетам сына, он собственноручно писал от 1500 до 2000 «исходящих» бумаг в год да, кроме того, производил множество следствий, был членом консистории, нес службу по своей приходской церкви. Вся жизнь его — образец трудолюбия.

При всем том Гавриил Иванович находил время заниматься воспитанием и обучением младших. Он обучил свояченицу не только французскому, но и греческому языку. Племянницы, сын, племянник, ставший впоследствии академиком, — все они прошли первоначально его школу. И какую школу! Н. Г. Чернышевский, совершенно свободно говоривший на мертвом латинском языке, был целиком обязан этим отцу. «Я самоучка во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец, бывший очень хорошим латинистом».

Умение работать, многосторонность, внутренняя энергия, способности, получившие у сына совсем иное направление, передались ему от отца.

«Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги», — вспоминает Чернышевский. Книга была в почете в этой семье. Не говоря уже о самом Гаврииле Ивановиче, человеке весьма образованном и начитанном, не скупившемся на приобретение ценных книг, любовь к чтению привилась и Александре Егоровне и ее старшей дочери Любиньке, а впоследствии под ее влиянием и Николаю Чернышевскому.

За воспитанием детей в семье Чернышевских — Пыпиных регулярно никто не следил. Они большею частью были предоставлены самим себе. Матери, погруженные в заботы безденежного хозяйства, могли только урывками уделять им внимание. Прислуга (крепостные Пыпиных) всецело была занята хозяйственными делами. «Росли мы, собственно говоря, как проводят время взрослые люди, то есть делали все, как нам было угодно».

Евгения Егоровна беспрестанно хворала. То у нее «трещала» голова, то «захватывало дух» от боли в правом боку или в ногах. Она часто лежала целыми днями, и тогда по дому ее заменяла младшая сестра.

Мягкий, всегда сдержанный отец старался не стеснять свободы сына. Любовь беспокойной, болезненной матери, наоборот, была требовательна. Там, где нельзя было действовать открыто и прямо, она шла окольными путями, действовала хитростью, унаследованной от «русского иезуита», всячески стараясь подчинить себе сына.

В известной степени это удавалось ей. Внешне, по крайней мере, он был всегда покорен, послушен, готов был жертвовать всем ради ее спокойствия. Лишь порою безропотная покорность вызывала в нем самом слабый протест.

И часто в юности Чернышевскому приходилось идти наперекор своей воле, чтобы не огорчать мать. Он заставлял себя смиряться, ропща на свою слабохарактерность. Только однажды он проявил непреклонную волю, не захотел считаться с матерью, — когда встал вопрос о женитьбе на Ольге Сократовне.

Глава третья

Должно быть, к самым ранним годам детства Чернышевского относятся воспоминания Палимпестова, рисующие нам Гавриила Ивановича, ведущего за руку своего сына по дороге из церкви или подолгу сидящего с ним на берегу широкой Волги.

Врезался в память Палимпестова внешний облик мальчика: «чистое белое личико с легкой тенью румянца и едва заметными веснушками, открытый лобик, кроткие пытливые глаза, изящно очерченный маленький рот, окаймленный розовыми губами, шелковистые рыжеватые кудерьки; приветливая улыбка при встрече со знакомыми; тихий голос, такой же, как у отца».

В привычном для себя кругу мальчик бывал оживлен, весел, разговорчив. В незнакомой среде робок, застенчив, неловок. Это осталось на всю жизнь.

Одна особенность, отличавшая его с самого детства, наложила неизгладимый отпечаток и на его внешнее поведение и, отчасти, на его мировосприятие. Он отличался:

редкою степенью близорукости. Он не узнавал в лицо детей, игравших с ним, если не приходилось в игре брать друг друга за руку. Даже на расстоянии одного метра Чернышевский не различал человека, на которого смотрел. Только по росту, осанке, походке он мог узнавать людей на таком расстоянии.

«В детстве я не мог выучиться ни одному из ребяческих искусств, которыми занимались мои приятели дети, ни вырезать какую-нибудь фигурку перочинным ножиком, ни вылепить что-нибудь из глины, даже сетку плести (для забавы ловлей маленьких рыбок) я не выучился: петельки выходили такие неровные, что сетка составляла не сетку, а путаницу ниток, ни к чему не пригодную», — так писал о своем детстве Чернышевский из Сибири в 1876 году. И отбывавшие там с ним каторгу вспоминали, что когда он порывался кому-нибудь помочь в работе, то его приходилось немедленно и чуть ли не силой отстранять, чтобы он не искалечил себя.

Близорукость порождала в мальчишке ту связанность, ту напряженность в малознакомом кругу, о которых неизменно пишут знавшие Чернышевского люди. Она же способствовала и некоторой обособленности его, приведшей к развитию ранней серьезности. Но дань детским забавам и играм—хотя, может быть, и не в полной мере — все же была отдана Чернышевским.

Игры протекали на соседнем дворе, получившем название «Малой Азии». Здесь собирались дети небогатых чиновников и дворовых людей. Играм он предавался с увлечением, был изобретателен и предприимчив, всегда умел подобрать компанию и непременно привлекал к игре, наряду со старшими детьми, малышей.

Зимой одним из самых любимых развлечений было катание с гор на дровнях. Обычно происходило это без ведома родителей, когда те уходили в гости, поздним вечером.

Соседи Чесноковы тайком отправляли за Чернышевским своего крепостного мальчика Ваську, а то Чернышевский являлся и сам, перелезая через забор, так как ворота в их доме на ночь запирались. На безлюдной темной улице собиралось несколько ребят. Они скатывали с дровней бочку, в которой доставлялась с Волги вода, запрягались в дровни, тащили их на Гимназиче-

скую улицу или, чаще всего, на Бабушкин взвоз, пошто бегущий к Волге и кончающийся крутым спуском. Разогнав дровни, ребята мчались мимо покосившихся домиков Бабушкина взвоза вниз к реке.

Видимо, Чернышевскому доставляли удовольствие острые ощущения. В конце пути он обязательно направил дровни на высокий выступ, чтобы скатиться с него и пролететь на дровнях через прорубь у берега реки.

Точно так же без ведома родителей ребята, заслушавшись рассказов дворовых людей о кулачных боях, бегали любоваться ими на Воловую улицу. Там по воскресеньям и праздничным дням около кабака «Капернаум» стена семинаристов, во главе с кулачным бойцом Соболевским, вступала в бой со стеною тулупников и нередко разбивала ее.

Саратов в ту пору был изрядною глушью. «Уж я был не маленький мальчик, — вспоминал Чернышевский, — когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровское — огромное село на другом берегу, несколько выше города. И тоже я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки».

Самым родным в детстве был свой двор, две-три близлежащие от дома улицы — Покровская и Московская, площадь Нового собора, берег Волги от Соколовского оврага до местности на версту ниже Сергиевской улицы. Другие части города были ему мало знакомы.

Дом — обыкновенный, скромный, рассудительный, как сказал бы Чернышевский, порядок жизни. Игры, чтение, замкнутый мир священнической семьи, с ее несколько обособленными интересами.

Церковь, священник, обедня, архиерей, пост, исповедь — вот обычные темы домашних бесед, вот предметы, чаще всего занимавшие мысль и взрослых и детей. Дело не менялось от того, что Пыпины, жившие с Чернышевскими одною семьей, олицетворяли, так сказать, «светское» начало. Оно не только не контрастировало, а, наоборот, растворилось и тесно переплелось с «духовным» началом в лице Чернышевских.

Но «духовное» носило здесь совершенно земной характер. «Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье». Ни

тени фанатического изуверства, аскетизма или мистических настроений не было здесь. «Церковь — это была у нас преимущественно «наша церковь», то есть Сергиевская, в которой служил мой батюшка... «Белить ли церковь?» — вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом. «Священник» — это был у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви»... Архиерей Иаков занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», т. е. законов и форм, и так во всем».

Конечно, родные Чернышевского в глубине души отпосились к религии вовсе не безразлично, отца Чернышевского связывали с церковью не только служебные интересы. И хотя Чернышевский впоследствии утверждал, что он целиком был обязан своей семье трезвостью взгляда на жизнь, религиозные предрассудки, вынесенные им из лона семьи, впоследствии сильно давили на его мысль. Он не легко и не сразу, а, наоборот, только после напряженной борьбы сумел освободиться от них.

Позднее Чернышевскому стало ясно, что понятия, которыми жила его семья, были узкими, ошибочными.

Влияние самой жизни с ее повседневными требованиями неизменно оказывалось сильнее привычных религиозных понятий. «Ведь старшие не были теоретики, — говорит Чернышевский, — они были люди самой обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми непышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от нее, сказать ей: ну теперь ты удовлетворена, дай мне немножко забыть тебя, — нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе... А были они все... люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительной жизнью. Такой продолжительный непрерывный близкий пример в такое время, как детство... не мог не помогать очень много и много мне, когда мне пришла пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло».

В этом-то воздействии самой действительности и крылось здоровое начало, ставшее источником светлого и

трезвого взгляда на жизнь, который так характерен для Чернышевского.

За очерченным кругом семьи и ее влияния текла другая жизнь, и она не могла не отозваться на мировосприятии чуткого мальчика.

Он с ранних лет мог наблюдать, в каком тягостном состоянии живут низшие слои населения — так называемое простонародье, как невыносимо гнетет крестьян крепостное право, рекрутчина, произвол и насилие властей.

В деревенском соседстве Пылиных, владевших небольшим имением в Аткарском уезде, откуда в дом Чернышевских приезжали пылинские крепостные, был убит крестьянами помещик, деспотически обращавшийся с ними. Слухи о последовавшей жестокой расправе властей с крестьянами могли дойти и до детей.

В жизни города обыденным явлением была так называемая «торговая казнь» — наказание кнутом или же публичная экзекуция на плацу, где происходило учение солдат. В Саратове в ту пору стоял полк. На плацу производились маршировка и обучение ружейным приемам. Малейшая неисправность солдата влекла за собою немедленное публичное наказание тут же на месте.

Двоюродный брат Чернышевского и младший друг его детства А. Н. Пылин на всю жизнь запомнил сцены, свидетелем которых был он в отроческие годы. Толпы народа перед зданием рекрутского присутствия, слезы матерей, расстающихся с сыновьями на двадцатипятилетний срок, бесшабашное пьянство и отчаянная гульба тех, кому «забрили лоб».

Сильно врезались в детское сознание самого Чернышевского подобные сцены. Отголоски их живут в автобиографическом романе «Пролог»:

«Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой и бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых он недоумевал еще в детстве — потому что и в детстве он уже был глубокомыслен. Ему вспоминалось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков, шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни», — так вспоминал Волгин-Чернышевский саратовский период своей жизни. Еще в детстве Волгин недоумевал от этих сцен. Его поражало, что достаточно было одного окрика дряхлого инвалида-будочника: «Скоты! Чего разорались? Вот я

вас» — чтобы сразу притихла и разбрелась ватага пьяных бурлаков, «Стеньки Разина работничков».

Забитость народа, бессилие массы перед притеснителем кидались в глаза и ребенку, тревожили пытлившую мысль Чернышевского даже в самую раннюю пору его жизни.

Глава четвертая

Примерно с середины 1836 года отец начал более или менее систематически заниматься с сыном. К этому времени относится первая из уцелевших ученических тетрадей Чернышевского, тетрадь с прописями: «Труд всё преодолевает», «Един есть Бог естеством» и т. п.

Отец решил самостоятельно подготовить сына к поступлению в семинарию и избавить его от необходимости посещать духовное училище.

Эта задача не представляла для Гавриила Ивановича трудности, так как он обладал не только прирожденным педагогическим даром, но и некоторым педагогическим опытом. Он свободно читал греческих и латинских классиков, хорошо знал математику, историю, географию, отчасти французский язык. Н. И. Костомаров, общавшийся с отцом Чернышевского в годы своей саратовской ссылки, говорит, что известная односторонность образования Гавриила Ивановича восполнялась не только природным умом, но и постоянным чтением.

Задача облегчалась также редкостными способностями и восприимчивостью ученика. Успехи мальчика обращали на себя внимание всех близких. Старшая двоюродная сестра его Любовь Котляревская часто читала ему книги, и он подолгу вел с нею беседы о прочитанном.

Привычка к чтению, привитая сестрой, превратилась у него в настоящую страсть; он не расставался с книгой ни за обедом, ни за ужином, что вызывало протесты со стороны бабушки и, напротив, молчаливое поощрение со стороны отца. Гавриил Иванович считал, что благодаря усиленному чтению у мальчика вырабатывается хороший слог в переводах. «Удивительно, как Коля чисто по-русски передает мысль греков», — восхищался нередко Гавриил Иванович.

С уроками, заданными отцом, мальчик справлялся очень быстро, а затем уходил играть на улицу или садился читать, а то играл в шашки с бабушкой Пела-

геей Ивановной, которая за доскою передавала шуку так хорошо запомнившиеся ему рассказы о старине.

Пятого сентября 1836 года Гавриил Иванович определил сына в духовное училище. Последовало, в сущности, лишь формальное зачисление его в списки учеников духовного училища с оговоркою, что он имеет право не посещать школу, занимаясь дома, и обязан лишь держать экзамены.

Гавриил Иванович стремился уберечь сына от тяжелых впечатлений, какие тот мог бы вынести из этого училища, где царили патриархальные нравы, телесные наказания и бессмысленная зубрежка.

Училище помещалось в грязном, запущенном двухэтажном здании на площади против Троицкого собора и старого Гостиного двора. Зимой школа плохо отапливалась — ученики сидели на уроках в пальто и в полушубках. Гавриил Иванович знал, что ректор училища склонен к пьянству, что преподаватели, жившие тут же в общежитии при училище, невежественны, грубы. Он рассудил, что разумнее обойтись без помощи такой школы.

Мальчик проявлял исключительную любознательность, был чрезвычайно памятьлив, сообразителен и все, что усваивал, усваивал прочно и основательно.

Предполагалось, что ему предстоит духовная карьера. Его готовили к семинарии. Латынь и греческий язык составляли основу семинарского образования. На них-то и приналег Гавриил Иванович в своих занятиях с сыном.

Правда, заниматься приходилось урывками.

— Когда ему учить Колю? — жаловалась мать. — Придет из церкви, полчаса поговорит с Колей, велит ему написать по-гречески и уйдет в консисторию, а Коля сядет за книгу, напишет и уйдет играть.

Но и самостоятельный интерес у Чернышевского к языкам проявился с самых ранних лет, хотя не легко и не просто было удовлетворить жажду знаний, живя в глухом провинциальном городе, «в кругу священников и дьяконов». Семья его не бедствовала, но и не была настолько обеспечена, чтобы дать ему воспитание, какое получали тогда дворянские дети, окруженные гувернерами и домашними учителями. Он должен был сам проявлять инициативу и изобретательность.

Так, познакомившись случайно с персом, торговавшим фруктами, Чернышевский предложил ему уроки русского языка с тем, что сам будет у него учиться персидскому. По окончании торговли перс этот являлся в дом к Чернышевским, обрасывал на пороге туфли, залезал с ногами на диван, и начинались занятия, к которым мальчик относился с чрезвычайной серьезностью.

Пылин вспоминает: «Кажется, очень рано он был хорошим латинистом: мне ясно припоминается он за чтением латинской книги... Это было старое, первых годов XVII столетия, издание Цицерона; помню, что он читал его свободно, не обращаясь к словарю».

Систематически учиться французскому языку Чернышевскому не пришлось. Он перестал посещать частный пансион, заметив, что товарищи посмеиваются над его произношением. Но, отказавшись от посещения пансиона, он усердно занимался сам.

По-немецки двоюродные братья начали учиться вместе у немца-колониста Грефа, учителя музыки, согласившегося давать детям уроки немецкого взамен уроков русского языка, которые он брал у Гавриила Ивановича.

По уцелевшим ученическим тетрадям Чернышевского видно, что еще до поступления в семинарию он изучал латинский и греческий языки, зоологию, естественную историю, геометрию, русскую грамматику и теорию словесности, историю, географию, немецкий и французский языки, делал переводы со славянского на греческий и с греческого на русский. После же поступления в семинарию к этому, помимо общесеминарских предметов, прибавлялись занятия персидским, арабским, древнееврейским и татарским языками.

От первых несложных стилистических упражнений для выработки слога он перешел через несколько лет к переводам из Корнелия Непота, Цицерона и других.

Наряду с обязательными занятиями — чтение. Недаром Чернышевский называл себя «с младенчества робким, пристрастившимся к книгам чужаком».

«Библиофагом, пожирателем книг» он сделался очень рано. «Я читал решительно все, даже ту «Астрономию» Перевощикова, которая напечатана в четверку и в которой на каждую строку, составленную из слов, чуть не страница интегральных формул».

Прежде всего были «исхожены вдоль и поперек более

близкие книжные пажити». Библиотека Гавриила Ивановича размещалась в двух шкапах, в ней были писатели XVIII и начала XIX веков: Роллен, Шрекк, аббат Миллот, Карамзин, энциклопедия Плюшара, Дюмон-Дюрвилль, Вельтман, духовная литература, собрание проповедей, религиозно-мистические сочинения. (Некоторыми книгами из этой библиотеки, к слову сказать, пользовался находившийся в Саратове в ссылке в пятидесятых годах историк Н. И. Костомаров.)

Не ограничиваясь наличием своей библиотеки и выписываемых журналов и газет — «Живописное обозрение», «Московские ведомости», «Духовное чтение», отец Чернышевского, постоянно сносившийся с дворянскими семьями в городе, брал для домашних новые издания, и таким образом здесь появлялись сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, ежемесячные толстые журналы «Отечественные записки» и «Современник».

Уже с десятилетнего возраста Чернышевский поглощал исторические, богословские, филологические труды Фрейтисгейма, Гревюса, Петавия, Адама Зерникавы. «Натуральная история» Рейпольского сменялась «Жизнью великих полководцев» Корнелия Непота, тяжеловесная история Роллена романами Диккенса (в переводах «Отечественных записок»).

Итоги этого беспорядочного, непрестанного чтения Чернышевский позднее определял так:

«Я стал искать для себя убеждений более удовлетворительных, чем смесь Голубинского и Феофана Прокоповича с Ролленом в переводе Тредьяковского и всяческими романами, журнальными статьями и учеными книгами всяческих тенденций от сочинений Дмитрия Ростовского до Диккенса и Белинского».

В этом хаотическом чтении большое место занимали книги по вопросам религии. Превосходное знакомство с творениями «отцов церкви», с самой разнообразной духовной литературой заставило начальство семинарии, куда Чернышевский поступил в 1842 году, считать его своего рода будущим светилом в области богословия. Но надеждам пастырей не суждено было сбыться, и когда роль Чернышевского определилась, а значение всей его деятельности стало ясно и провинциальному духовенству, тогда-то и возникли разговоры о «падшем ангеле».

В семинарии Чернышевский был зачислен в параллельную группу первого (по тогдашней терминологии—низшего) класса, носившего название класса риторики, за которым следовали еще средний класс — философии, и затем высший — специальный класс богословия.

Семинария мало могла дать Чернышевскому. По уровню своего развития и знаний он стоял гораздо выше требований, предъявлявшихся к ученикам. Учиться в ней ему было почти нечему, кроме того, чему не следовало учиться.

Семинария с ее схоластическими методами преподавания только отнимала у него время, ничего не давая взамен. Философия была всецело приспособлена к требованиям богословия, словесность — к составлению проповедей, и все прочее в том же духе.

Много лет спустя Чернышевскому пришлось в одной из работ обрисовать обстановку нижегородской семинарии, где учился его друг Добролюбов. «Даже те воспитанники, — говорит он, — которые по своим умственным силам не превышали уровня обыкновенной даровитости, не могли не досадовать на пустоту ее преподавания. Тем тяжелее было тратить в ней время юноше такой силы ума, такой пламенной любви к науке, таких обширных знаний, как Добролюбов. Он презирал семинарскую программу и свои школьные занятия по ней». Слова эти могут быть целиком отнесены и к Чернышевскому, они навеяны собственными впечатлениями и воспоминаниями о пребывании в стенах саратовской семинарии.

На уроках он большею частью занимался выписыванием из лексиконов, упражняясь в изучении языков. Это осталось в памяти его одноклассников, отмечавших, впрочем, что, как бы Чернышевский ни был погружен в свои лингвистические занятия, любой вопрос преподавателя не заставлял его врасплох. Он тотчас отпрыгивал от тетрадей, вставал и отвечал урок, обнаруживая при этом знания, идущие далеко за пределы обычной подготовленности.

Особенно любили ученики, когда наступала очередь Чернышевского отвечать по истории. Обыкновенно уроки ее протекали вяло. Преподаватель Синайский был выдающимся знатоком греческого языка, но историю знал

плохо. Ученики скучали в классе, но, когда учитель заставлял отвечать Николая Чернышевского, многолюдный и шумный класс мгновенно затихал. Чернышевский говорил увлекательно и живо, с подробностями, которых не было в учебнике.

Сочинения его (по семинарской терминологии — «задачки») считались образцовыми. «Так развивать тему сочинений могут только профессора академий», — рапортовал о них начальству учитель словесности. Неудивительно, что преподаватели считали за удовольствие протолковать с Чернышевским.

Воздействие школьной среды всегда очень ощутительно. Чернышевский же попал в нее с некоторым опозданием. Ведь ему было уже четырнадцать лет, когда после привычной семейной обстановки он очутился в новой для него среде.

Вот каким его рисует один из товарищей по семинарии: «В то время он был несколько более среднего роста, с необыкновенно нежным женственным лицом: волосы светложелтые, но волнистые, мягкие и красивые; голос его был тихий, речь приятная, вообще это был юноша, как самая скромная, симпатичная и невольно располагающая к себе девушка. К его несчастью, он был крайне близорук, книгу или тетрадь он держал всегда у самых глаз, а писал всегда, наклонившись к самому столу».

Застенчивый, женственный с виду, близорукий, тихий юноша. Тут налицо все качества, чтобы стать мишенью для насмешек озорных, грубоватых семинаристов. К тому же роль «первого ученика» в старой школе зачастую не только выделяла, но и отгораживала такого ученика от товарищей.

Но с Чернышевским этого не произошло. Он внушал товарищам и любовь и уважение. Они беспрестанно обращались к нему за помощью, а он в таких случаях был неизменно внимателен и отзывчив.

Ему чужды были намерения ревниво скрывать от других свои знания, щеголять ими, подчеркивать свою исключительность. Наоборот, он сам искал случая поделиться знаниями с товарищами, охотно объяснял им уроки, с готовностью оставляя для этого игры и удовольствия.

Помогал он не только «своим», т. е. семинаристам, но и ученикам гимназии. «Иногда Николай Гаврилович, придя к нам в дом, — рассказывает Тищенко, — заставлял

меня за уроками. Бывало, скажешь ему: «Николай Гаврилович, переведите мне». — «Я вижу, тебе хочется играть. Ну, ступай, малец, играй — я переведу тебе», — ответит он. Я с радостью отправляюсь играть, а Николай Гаврилович напишет мне французский перевод, за который учитель поставит 5».

В век процветания особой грубости и дикости семинарских нравов, пожалуй, обычай тогдашней саратовской семинарии были еще сравнительно мягки. Сечение здесь не вводилось в систему, хотя иные вспыльчивые наставники не прочь были прибегать к рукоприкладству. Учеников ставили на колени в угол, заставляли за провинность класть земные поклоны.

Классные комнаты по зимам отапливались плохо, в окнах вторых рам не вставляли, двери были разбиты, — в классах стоял невыносимый холод. На переменах, чтобы согреться, ученики принимались бороться. «Комнаты были опромные, народу пропасть, все возьмется, а Чернышевский засядет в угол, смотрит и улыбается. Вытащат и его, — начнет и он бороться. Нередко случалось, что когда он уставал, то борцы возьмут его на руки и с почетом отнесут на свое место».

Он был и любим товарищами и как-то выделен ими из общей массы учеников, инстинктивно ощущавших складывавшуюся моральную и интеллектуальную силу Чернышевского. Его отзывчивость подкупала; он был спасителем от горестей семинарской муштры.

Особенной свирепостью отличался среди учителей семинарии латинист Воскресенский, человек вздорный, грубый, необычайно противоречивый в своих поступках. Беднейшим ученикам он оказывал поддержку и деньгами и одеждою. Вместе с тем, до крайности вспыльчивый Зодка, как прозвали Воскресенского семинаристы, в раздражении бил учеников книгами по головам, трепал их за волосы и за уши, а одного семинариста даже сбросил с лестницы. Это не мешало ему приглашать потерпевших к себе, угощать их чаем, что было известной честью для учеников.

Чернышевский по праву считался непревзойденным в классе латинистом. Стараясь выручить товарищей, он являлся в класс еще до начала уроков, проверял и объяснял заданное. «Подойдет группа человек в пять-десять, он переведет трудные места и объяснит, только отойдет

эта, — подходит другая, там третья и т. д., а там: то из одного угла кричат: «Чернышевский! Почему здесь стоит «*si ipsum?*», то из другого: «Какое значение дать здесь слову?» И не было случая, чтобы он выразил хотя бы полусловом свое неудовольствие».

Так в классе говорили: «*Si rufus bonus — optimus, si rufus malus — pessimus*». — «Если рыжий (а ведь Чернышевский был рыжим) хорош, то в превосходной степени, если плох, то в той же мере».

С большинством одноклассников у него установились ровные приятельские отношения, с некоторыми что-то похожее на дружбу, но лучшим и единственным другом Чернышевского в семинарии был Михаил Левицкий. За всю жизнь у него было лишь три таких друга: в школьные годы — М. Левицкий, в университетские — В. Лободовский, в период «Современника» — Н. Добролюбов.

Имена первого и последнего не случайно сплетены в «Прологе», где под фамилией «Левицкий» изображен Добролюбов. Видимо, писатель чувствовал что-то общее в этих лицах, как-то соединял их в своем воображении. Может быть, и в том и в другом его привлекали непокорность традициям, решительное отрицание условностей, бунтарство, прямолинейность в поступках. Эти черты своих друзей Чернышевский нередко сопоставлял со своею мнимою трусостью, вялостью, нерешительностью. Как позднее его восхищала прямота и резкость в поведении Добролюбова, так теперь его привлекала независимость свободолюбивого Левицкого. Сам Чернышевский при всей своей внутренней твердости был в личных отношениях мягок и застенчив. В случае расхождения с собеседником ему иногда нехватало решимости высказать несогласие прямо: он мог смолчать или отшучиваться, скрывая за шутками свой истинный взгляд на вещи.

Эта уклончивость и мягкость в общении с окружающими, не вязавшаяся с внутренней непреклонностью, раздражала и мучила самого Чернышевского. Он часто осуждал себя, готов был считать свой характер «уклончивым до фальшивости», «изгибающимся, податливым», хотя это была податливость лишь внешнего поведения, не простиравшаяся на поступки и убеждения.

Но в молодости он ощущал это противоречие с осо-

бенной остротой. Воля к действию созревала в нем постепенно и медленно, зато, созревши, становилась уже непреодолимой.

Порывистый Левицкий был в некотором смысле противоположностью Чернышевскому. Он открыто высказывал свое несогласие с преподавателями, постоянно спорил с ними и с учениками.

В классе они сидели рядом — Чернышевский первым на первой скамье, Левицкий — вторым.

— Ты, Левицкий, настоящий лютеранин, — говорил ему законоучитель Петровский, — твои возражения не в православном духе. Ты споришь не затем, чтобы узнать истину, а затем, чтоб выведать мои познания, поймать меня на слове, сконфузить перед классом.

В конце концов Левицкий был даже лишен казенного содержания за то, что однажды на уроке древнееврейского языка исчеркал записки учителя и на возмущенный вопрос последнего ответил ему:

— Зачем вы здесь наврали?

Вот этот-то протестант и стал самым близким другом Чернышевского. Они не могли и двух дней прожить друг без друга. Но когда однажды Николай Гаврилович заболел лихорадкой и недели три не являлся в семинарию, то Левицкий не решился навестить его, потому что у него не было сносного костюма. Зимой он ходил в синем зипуне, а летом в нанковом халате. Порою Левицкому буквально не в чем было явиться даже в класс, и тогда Чернышевский каждый день приходил к нему в общежитие.

История с лишением Левицкого казенного содержания произошла, когда его друг уже вырвался из саратовской семинарии в Петербург. Получив там известие об этом и еще не зная в точности причин, вызвавших кару, Чернышевский был огорчен до глубины души. Еще бы, ведь Левицкий был в его глазах чуть ли не будущей гордостью России. Лишение единственной материальной опоры ставило под удар судьбу талантливого, но неустойчивого юноши, и без того склонного топить неудачи в вине.

«Теперь он и вовсе сойдет с круга, — решил Чернышевский. — Это человек с удивительною головою, с пламенной жаждой знания, которой, разумеется, нечем удовлетворить в Саратове и ему, бедняку-бурсаку.

Эти мелкие, пустые, грошевые, но ежеминутные, посто-

янные и непреодолимые почти препятствия естественно каждого, кто не одарен слишком сильною волею, твердым характером, сделают раздражительным, несносным человеком... Верно, он думал-думал о том, что дельное, нужное, полезное могло бы из него выйти, ну... и взрывало бедняка».

Должно быть, случилось именно так, как предполагал Чернышевский. Левицкий спился с кругом. Неизвестно в точности, когда он умер, но уже в 1862 году Чернышевский упоминает о нем, как о покойном.

Глава шестая

В семье обсуждение вопроса о том, следует ли Николаю избрать духовную карьеру или лучше поступить в университет, началось задолго до его отъезда в Петербург. Существует версия, что неприятности по службе, которые возникли у Гавриила Ивановича, уволенного в 1843 году от присутствования в консистории за неправильную запись в церковных книгах младенца, рожденного через месяц после брака родителей, повлияли на его решение предоставить сыну полную свободу в выборе будущего пути. Обида как бы подсказала отцу, что сын может и не идти по его стопам.

Казус этот смутил и Евгению Егоровну, которая прежде твердо держалась того мнения, что сын должен остаться в духовном звании.

«Николай учится прилежно попрежнему, — писала она в одном из писем родственнику, — по-немецки на вакациях брал уроки, по-французски тоже занимался. Мое желание было и есть оставить его в духовном звании, но... согрешила: настоящие неприятности поколебали мою твердость; всякий бедный священник работай, трудись, а вот награда лучшему из них. Господь да простит им несправедливость».

С другой стороны, А. Н. Пыпин, очень близко стоявший к семье Чернышевских, говорит, что Гавриил Иванович просто-напросто был вынужден уступить настойчивому желанию сына получить светское образование.

Так или иначе, но уже вскоре после определения Чернышевского в семинарию начались разговоры о возможности перехода его в университет.

Еще за полтора года до отъезда Чернышевского в Пе-

тербург Гавриил Иванович запрашивал своего родственника и земляка Раева, учившегося там на юридическом факультете, сможет ли Николай поступить в университет, не только не имея аттестата об окончании всего курса семинарских наук, но даже не окончив и среднего отделения семинарии.

А весной того же года он сообщил Раеву: «Ваша заботливость о моем Николае столь приятна моему сердцу, что я не в состоянии возблагодарить вас. Николай ныне для университета еще молод, ибо ему еще семнадцатый год. Я предполагал... отправить его на будущий год: между тем он несколько подкрепитесь телом и получше приготовится к принятию лекций университетских».

При этом Гавриил Иванович осторожно добавлял, видимо опасаясь неблагоприятных городских толков: «О намерении моем перевести Николая в университет никто не знает, кроме вас». Вероятно, не последнюю роль сыграло здесь и влияние одного из преподавателей семинарии, дальнего родственника Чернышевских, Саблукова, автора ряда ученых книг, известного по тому времени ориенталиста, археолога и нумизмата.

Между преподавателями семинарии лишь двух-трех человек Чернышевский считал действительно знающими людьми и в первую очередь, конечно, Саблукова, преподававшего татарский и арабский языки. Преподавание их было обусловлено миссионерскими целями — север Саратовской губернии был густо заселен народами мусульманского вероисповедания, обращаемыми в христианство. Обучение этим языкам выходило за рамки семинарской программы, но Саблуков сумел заинтересовать Чернышевского, который усердно занимался у него.

Позднее, в университетские годы, Чернышевский с необыкновенным усердием и упорством проделывал чрезвычайно трудоемкие и кропотливые изыскания по славянской филологии у профессора Срезневского. Первые навыки к такого рода работам он получил еще в семинарии, занимаясь у Саблукова.

Однажды Чернышевский начал составлять указатель топографических названий татарского происхождения в Саратовской губернии. Он раскладывал на полу огромную карту, собирал, проверял названия сел, деревень, урочищ, давал татарское написание названий и перевод их на русский язык.

Вообще длительный интерес Чернышевского к лингвистике, едва не заставивший его избрать чисто ученую деятельность на этом поприще, связан с занятиями у Саблукова, отметившего своего ученика покровительством и дружбой.

В свою очередь благодарный ученик признавался ему: «Из всех людей, которым я обязан чем-нибудь в Саратове, я уважаю вас более всех, как ученого и наставника моего, и люблю более всех, как человека».

Много лет спустя, томясь в Петропавловской крепости, Чернышевский вспомнил о нем, как об одном «из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей», каких он знал.

Вероятнее всего, что именно Саблуков убедил своего ученика не ограничиваться семинарским образованием, а добиться поступления в университет. В письме к Саблукову Чернышевский, только что начавший заниматься на философском факультете Петербургского университета, писал: «Обстоятельства, известные вам, не допустили меня избрать Восточный факультет: но ни любовь моя к восточным языкам и истории, ни... признательность и живейшая благодарность моя к вам, как первому наставнику моему по восточным языкам, не могли и не могут уменьшиться оттого, что другие предметы должен формально изучать я в продолжение этих четырех лет».

Обстоятельства, помешавшие Чернышевскому избрать восточный факультет, нам неизвестны. Но характерно намерение, внушенное Саблуковым. Весь тон письма подсказывает, что в Петербург Чернышевский отправился, вдохновляемый учителем.

Прежде чем взять сына из семинарии, Гавриил Иванович еще раз написал в Петербург Раеву, прося его выяснить, возможно ли будет Николаю поступить в университет без окончания семинарии, и к стати просил прислать программы приемных экзаменов.

В декабре 1845 года было подано прошение ученика среднего (философского) отделения Николая Чернышевского об увольнении из семинарии.

«С согласия и позволения родителя моего, протоиерея церкви Нерукотворного Спаса, Гавриила Чернышевского, я желаю продолжать учение в одном из императорских русских университетов».

Успехи Чернышевского были аттестованы следующим

образом: «по философии, словесности и российской истории — отлично хорошо; по православному исповеданию, священному писанию, математике, латинскому, греческому и татарскому языкам — очень хорошо; при способностях отличных, прилежании неутомимом и поведении очень хорошем».

Глава седьмая

Современному читателю надо представить себе все те трудности, какие были связаны с путешествием из Саратова в Петербург в сороковых годах прошлого века, чтобы понять, почему подготовка к отъезду Николая Гавриловича началась в семье задолго до самого отъезда.

Не сразу было решено, где лучше учиться сыну — в ближайшей ли Казани, в Москве ли, Петербурге ли. Когда остановились все-таки на Петербурге, потому что там жил родственник Чернышевских Раев, будущий отъезд Николая Гавриловича стал главной темой домашних разговоров. Так продолжалось целый год. Безденежному хозяйству протоиерея предстояло серьезное испытание. Нужно было выкроить немалые средства на самый переезд в столицу, хотя бы и «на долгих», что было значительно дешевле, чем ехать с почтовыми.

Рассчитывать приходилось все: и цену меры овса, и стоимость содержания в пути извозчика с его тройкой, и «поборы» на шоссе, и плату на постоянных дворах. Дальше шли расходы на первое устройство — квартира, форма, учебники, и, наконец, расходы Евгении Егоровны на обратном пути. Мать ни за что не соглашалась отпустить сына одного и, пренебрегая слабым здоровьем, решила сопровождать его до Петербурга, чтобы своими глазами видеть, как устроится их любимец вдали от родных.

Волнение, с каким здесь ждали путешествия в Петербург, было тем острее, что ведь никто из семьи никуда не ездил, если не считать поездок отца по епархии.

Отъезд из Саратова был назначен на восемнадцатое мая. В этот день у ворот дома с утра стояли повозки; укладывали запасы провизии на дорогу, вещи и книги будущего студента.

Кроме него и матери, отправлялась с ними, как ком-

няньонка матери, Устинья Васильевна — дочь саратовского лавочника, квартировавшего в доме Чернышевских. Сборы тянулись до вечера. Потом началось прощание по очереди с бабушкой, с отцом, с кузинами, с Сашей Пыпиным, прозванным в гимназии за малый рост Пипином Коротким, со слабосумным Егорушкой Котляревским. Кузины в последнюю минуту невольно всплакнули.

Наконец путешественники разместились, лошади тронулись. В последний раз выглянув из повозки, Чернышевский посмотрел на высокую фигуру отца, вышедшего на улицу в домашнем одеянии — в полукафтани из тонкой шерстяной материи, подпоясанном вышитым поясом. Таким и унес его в памяти сын, уезжая в далекий сказочный Петербург.

«Мой Николай, — писал Гавриил Иванович через три дня Раеву, — 18 сего мая в 5 часов после обеда оставил Саратов, чтобы явиться к вам в Петербург под предводительство и попечительство ваше».

Путь из Саратова лежал через Пензу или через Тамбов, но Евгения Егоровна, жаждавшая поклониться мощам святого Митрофания, решила ехать на Воронеж.

Поездка предстояла длительная, трудная. Лошади попались смиренные, но тяжелые на ногу: сначала, не разойдясь еще, тащились верст по пяти в час. В первый день отехали всего верст двенадцать от Саратова и заночевали в Ольшанке.

Эта медлительность настраивала Чернышевского на шуточный лад. Не след англичанам тщеславиться «своими скаковыми лошадьми, когда у нас в России простые извозчищи лошади, пара с пятнадцатью людьми клади, могут нестись с быстротою трех с половиной верст в час», — писал он с дороги Саше Пыпину и приводил уравнение: $x = 1800 - 43$, показывавшее, что число верст, которое оставалось проехать, равнялось 1757. И далее из математических формул следовало, что остается ехать только $41^{24/43}$ дня, или пять недель шесть дней и около $11\frac{1}{2}$ часов.

Во все время пути не оставляло его какое-то радостное возбуждение. Мысль о том, что он едет учиться в столицу, приводила его в восторг. Он сдерживался в проявлениях радости, чтобы маменька не подумала, что ему легко далась разлука с родным гнездом.

Белгаз... Китоврас.: Балашев — все было ново нашим саратовцам. Но погода сначала не радовала. Холодный ветер гнал облака, частые дожди размывали и без того плохую дорогу. Повозку кидало на ухабах и рытвинах, при въездах в села она тонула в огромных непросыхавших лужах. По сторонам тянулись бесконечные взрытые поля, мелкий ельничек, одинокие полосатые версты.

В селе Баланды Чернышевские долго разговаривали с дьяконом Протасовым, рассказывавшим о красотах Воронежца, о благолепии Митрофаньевского монастыря, об искусном лении тамошних монахов.

— Впрочем, то ли еще узрите вы в Петербурге...—сказал он, узнав о цели поездки Чернышевских. — То ли еще узрите...

Прощаясь, он несколько раз пожелал путешественникам счастья, удачи и здоровья. И, наконец, обратившись к Чернышевскому, прибавил:

— Желаю вам, молодой человек, чтобы вы были полезны для просвещения России.

Евгении Егоровне, видимо, по душе пришлось сказанное Протасовым, но из скромности она возразила:

— Это уж слишком много; довольно, если и для отца и матери.

— Нет, это еще очень мало, надобно им быть полезным и для всего отечества, — сказал Протасов, ласково улыбувшись юноше.

Слова эти поразили Чернышевского потому, что дней за пять до отъезда его из Саратова священник Александровской больничной церкви Петр Никифорович Каракозов в разговоре о предстоявшей Чернышевскому поездке в Петербург тоже сказал ему нечто похожее:

— Дай бог с вами свидеться, приезжайте к нам отсюда профессором, великим мужем, а мы к тому времени уже посеедем.

«Вот второй человек...» — подумал Чернышевский, прощаясь с Протасовым. Возмущенный этими предвещаниями, он в тот же день записал о своих встречах: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении... Мне теперь обязанность:

быть им с Петром Никифоровичем вечно благодарным за их пожелание, верно, эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству... Я вечно должен их помнить».

Только к концу месяца добрались наконец до Воронежа. Здесь—передышка на несколько дней после немилостивой тряски, после ночевок в курных избах и на постоялых дворах. Начали, как подобало, говеть, потом причащались, осматривали воронежские церкви, монастырь, кафедральный собор, поклонились мощам. Мать все накупала образочки и колечки для племянниц, оставшихся в Саратове.

В воскресенье второго июня после ранней обедни выехали на Задонск—Елец. Ямщик Савелий толком не знал дороги, да и с лошадьми едва управлялся. Евгения Егоровна спорила с ним, он отвечал ей грубостями, отчего она не раз принималась плакать.

На десятый день по отъезде из Воронежа показалась Москва. Направили путь свой прямо к Клиентову, священнику церкви Воскресенья Словоущих на Малой Бронной, уроженцу Саратова.

Москва была для Чернышевских чужим и вовсе незнакомым городом. Еще дома, собираясь в дорогу, Евгения Егоровна решила, посоветовавшись с мужем, остановиться по приезде на несколько дней в Москве и попросить приюта у земляка, Григория Степановича Клиентова, хотя никто из Чернышевских никогда раньше и в глаза его не видал. Не на постоянный же двор им было ехать? Саратовской матушке, впервые отправившейся в такое путешествие, это и дорого казалось и непривычно.

Они застали всю семью Клиентовых в сборе. Велико-возрастный сын с вялыми оловянными глазами, пятеро дочерей, из которых старшая двадцатичетырехлетняя Александра, заменявшая в доме хозяйку, и средняя Антонина, втайне от отца писавшая стихи, были особенно красивы.

Многодетный вдовец, разительно напомнивший Чернышевскому по своим манерам саратовского епископа Моисея, встретил нагрянувших нежданно гостей не слишком-то радушно. В разговоре его проскользнули колкие шутки насчет простора необозримых покоев и обидные остроты касательно неустроенных судьбою дочерей.

Евгения Егоровна, нимало не смущаясь, отрекомендо-

балась, назвала несколько имен общих знакомых по Саратову, представила сына и с провинциальной простотою попросила позволения ночевать и поставить во дворе лошадей.

Отдохнув с дороги, саратовцы отправились осматривать Кремль. Путь лежал мимо университета и экзерциргауза. Заходили к Иверской. Затем Чернышевский пошел на почтамт за письмами от отца и с письмами в Саратов. Удивлялся, проходя по Кузнецкому мосту, что моста-то и нет. Удивлялся обилию студентов — всюду мелькали их голубые воротники, даром что каникулы. Никак не мог свыкнуться с мыслью, что он в Москве. Чудно казалось.

Наутро Евгения Егоровна объявила о своем решении взять сына к Троице-Сергию — помолиться угоднику перед поступлением Николеньки в университет. Ей хотелось, чтобы в этой поездке их сопровождала Александра Григорьевна, неволью располагавшая к себе своею сердечною мягкостью, естественным благородством, тактом и какою-то затаенной грустью.

Чувствовалось, что дочерям не сладко живется под отчим кровом, и особенно заметно было это по поведению Александры Григорьевны, уже успевшей побывать замужем, овдоветь и снова возвратиться к отцу, чтобы принять здесь на себя тяжкое бремя материнских забот о большой семье.

Дурное обхождение с нею отца, пренебрежительно смотревшего на вдовую дочь, как на служанку, не ускользнуло от Чернышевского и сразу пробудило в нем острое чувство обиды за горькую участь молодой женщины, лишившейся личных радостей и всецело жившей теперь для сестер и отца.

Ему поминутно хотелось обратить на себя ее внимание, но он был робок, неловок, все время терялся и упускал одну за другою возможность проявить свое расположение к Александре Григорьевне.

Только после настойчивых просьб Евгении Егоровны Клиентов дал разрешение дочери отправиться к Троице-Сергию на богомолье вместе с Чернышевскими.

Вез их все тот же Савелий на той же тройке. Было ветрено, и Евгения Егоровна то и дело укрывала и укутывала сына, беспокоясь, как бы его не продуло.

Это становилось смешным, но сын не решался возра-

жать, когда она прикрывала его со стороны ветра то собственной ладонью, то всем своим телом, то платком, распутивши его по воздуху и придерживая обеими руками.

В Сергиевском посаде остановиться пришлось на постоялом дворе. Евгения Егоровна, избегая лишних затрат, взяла лишь одну комнату, а когда настало время укладываться всем спать, очень просто вышла из затруднительного положения, сказав:

— Ты, Николенька, полезай-ка под кровать, да там и усни. А потом уже мы обе на кровати ляжем. Нам так удобнее будет и раздеваться и спать.

Ничуть не смущаясь неудобством помещения, она смело полез под кровать и расположился там на ночлег.

Его разбудил голос матери, обращавшейся к Александре Григорьевне: «Вставай, вставай, к заутрене пора!..»

— А ты, Николая, смотри, погоди вылезать-то! крикнула она ему. — Полежи, пока мы оденемся. — И потом безобидно шутила с Александрой Григорьевной, когда сын показался из-под кровати, весь переначканный в пуху...

В лавре путешественники «молебствовали» о прекращении дождя, дабы не так трудна была дорога до Петербурга.

На возвратном пути, пока Евгения Егоровна дремала в повозке, Чернышевскому удалось завязать серьезный и долгий разговор с Александрой Григорьевной, и он был поражен тонкостью понимания, верностью непредубежденных ее суждений, чистотой ее взгляда на жизнь.

Правда, он не подозревал тогда, что с ним говорит одна из ближайших подруг детства и юности Наталии Захарьиной (Герцен).

Это открылось ему лишь несколько лет спустя, когда снова довелось ему столкнуться с Клиентовыми и пережить даже что-то вроде увлечения ею.

Она очень неохотно говорила о себе. Но чем более Чернышевскому удавалось по отдельным черточкам из их разговора в дороге составить скольконибудь полное представление о собеседнице, тем все сильнее его прорвала грустность ее положения и тем большей симпатией проникался он к ней.

«Другие знали любовь отца и любовь матери, — ду-

мал он, — а ты и в родной семье была не то сиротой, не то воспитанницей, не то служанкой. И потом столь рано стать вдовой...»

Мысленно он не переставал во все время пути твердить всплывшие в памяти строки Лермонтова:

Ты не должна любить другого,
Нет, не должна.
Ты мертвецу святыней слова
Обручена...

И, размечтавшись, он уже решил в душе, что непременно, непременно посвятит ей свой первый литературный опыт..

По возвращении с богомолья мать и сын подвели итоги двадцатидневного путешествия от Саратова до Москвы, подсчитали все большие и мелкие расходы. Вышло, что с Савелием лучше расстаться и купить места в дилижансе. Это дороже, но быстрее и удобней. Правда, Савелий рядился везти не только до Москвы, но и от Москвы до Петербурга, «по шосту», но он оказался пьяницей, канальей, совсем ненадежным человеком. Чернышевский писал отцу по-латыни: «*Si vis, alias etiam causas tibi adduco. A perpetuo motu in rheda nostra carente elasticis sustentalis (peccor) meum quoque pectus et corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre dicam? Dei gratia sani sumus, sed valda motu in rheda conflicti (растрясены) que omnia in diligenti locum habere non possunt*» (Если угодно, и другую причину приведу: при отсутствии у повозки рессор, даже у меня грудь и тело болели от постоянной тряски и ушибов; что же сказать про маменьку? Благодарение богу, мы здоровы, но очень разбиты тряской в повозке. В дилижансе этого всего не будет.)

Билетами на дилижанс запаслись заранее. В день отъезда на обширном дворе почтамта, где стояли огромные дилижансы, собрались пассажиры. По лесенке, укрепленной позади кузова дилижанса, носильщики тащили наверх багаж, пассажиры торопились занять места.

Глава восьмая

На рассвете девятнадцатого июня, после трех суток пути, дилижанс, в котором ехали Чернышевские, прибыл в северную столицу. Как только город проснулся, отпра-

вились на поиски Раева. Тот радушно принял родственников и тотчас помог им отыскать временную квартиру близ своей, неподалеку от Невского.

Из окон был виден достраивающийся Исаакиевский собор. Огромный купол его, уже вызолоченный «чрез огонь», сиял на солнце.

Днем Чернышевский вышел на многолюдный Невский. От гуляющих «проходу не было, как полвека назад, говорят, не было ходу судам по Волге от множества рыбы».

Подолгу простаивал юноша у витрин книжных магазинов, обилие которых его изумляло — чуть ли не в каждом доме по магазину.

С ненасытным любопытством провинциала, выбравшегося из глуши, Чернышевский спешил все осмотреть в Петербурге, чтобы поделиться своими впечатлениями с родными.

В письмах к ним он старался применяться к интересам каждого из них. Бабушке рассказывал о том, что видел митрополита на Невском и что скоро, может быть, увидит царскую фамилию. «Видели мы и паровоз: идет не так уж быстро, как воображали: скоро, нечего и говорить, но не слишком уже». Отцу — о великолепии здешних соборов, об успешных карьерах земляков в Петербурге, о будущем своем устройстве, о хлопотах по приему в университет. «Я до-смерти рад и не знаю, как и сказать, как вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь... Теперешнее время очень важно для решения судьбы моей». Саше и двоюродным сестрам шуточно изображал всю прелесть столичной жизни для тех, у кого 50 000 годового дохода.

До начала экзаменов было еще далеко, но Чернышевский не переставал исподволь готовиться к ним. Врочем, и свободного времени оставалось немало. Не прошло и двух недель, как саратовский библиофил изучил все каталоги знаменитых петербургских книгогроздцев. Часами просиживал он в книжных лавках Беллидара, Смирдина, Шмицдорфа, Ольхина, Грфа, Ратькова.

Двенадцатого июля, в день своего рождения, Чернышевский отправился подавать прошение о поступлении на 1-е (историко-филологическое) отделение философского факультета Петербургского университета.

День этот был выбран матерью, ей казалось, что совпадение будет способствовать успеху.

Принял его в присутствии седенький старичок в партикулярном сюртуке. В петлице у него мерцал какой-то орден. «Должно быть, ректор», — наивно заключил близорукий податель прошения.

Евгению Егоровне казалось, что вернее всего цель будет достигнута обходным путем. Посетить профессоров, которые будут экзаменовать сына, постараться разжалобить их, объяснить, что издалека приехали, затратили большие деньги, просить о снисхождении...

Это оскорбило Чернышевского. Но он осторожно и сдержанно критиковал в письме к отцу планы матушки, боясь выказать неуважение к ней.

Он понимал, что не нуждается в снисхождении, в милостыне. Затрагивались его самолюбие, его честь. «Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как на умственного нищего, идя рассказывать, как ехали 1500 верст мы при недостаточном состоянии и прочее... Да едва ли и выпросишь снисхождение к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь Христа ради принять себя, да вопрос еще: нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна?.. А ведь, как угодно, нужна ли она или нет, а, прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так, и пойдешь на все четыре года с титулом: «Дурак, да 1500 верст ехал: нельзя же...» А вероятно, и не нужно ничего этого делать. Не должно, это уж известно».

Не слушая сына, Евгения Егоровна все же направилась к университетскому законоучителю священнику Райковскому, а во второй раз потащила к нему и будущего студента. Райковский с полчаса читал ему наставления и проповеди.

Скучая, еле сдерживаясь, чтоб не повернуться и не уйти, молча слушал Чернышевский нудные речи о том, что студенты только мотают отцовские денежки, что все семинаристы — невежды и прочее в том же духе. Другие визиты, к счастью, не состоялись.

С утра второго августа начались экзамены. Первый — по физике. На экзамене присутствовали ректор Плетнев и попечитель учебного округа Мусин-Пушкин. Экзаменовали сразу за тремя столами. Пока сидел Мусин-Пушкин, экзаменуемых вызывали по алфавитному

списку, а когда часа через два он ушел, вызывать не-
рестали, и каждый подходил сам, как на исповеди. При
попечителе очередь до Чернышевского не дошла.

Сильное волнение охватило скрыто самолюбивого юно-
шу, когда он направился к среднему столу, за которым
сидел пожилой упитанный немец Ленц. Но внешне это
волнение, как всегда, ни в чем не проявилось. Он только
чуть побледнел, рассматривая доставшийся ему билет.
Ленц остался заметно доволен ответами Чернышевского.

— Очень хорошо, — сказал он в заключение. — Где
вы воспитывались?

Каждый из экзаменующихся дождался выставления
при нем отметки, но Чернышевскому показалось слиш-
ком неучтивым нагибаться к самому журналу, тем более,
что и профессор отличался близорукостью и, проства-
ля отметку, низко склонился к столу.

Ободренный успешным началом, Чернышевский на
другой день бойко отвечал на экзамене по алгебре и
тригонометрии. И снова был огорчен, что отметка оста-
лась ему неизвестной. «Просто хоть очки надевай: профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе
ли точно поставил, не ошибся ли в фамилии, а ты не
видишь».

На экзамене по словесности саратовцу выпало напи-
сать на тему: «Письмо из столицы». Аттестовано оно
было высшим баллом.

К Фрейтагу на экзамен латинского он шел, полный
самых радужных надежд. Он мог перевести без подго-
товки Тацита, Горация, любого автора; мог бы объяс-
няться с профессором по-латыни, тем более, что Фрей-
таг плохо владел русским и, если экзаменующийся не
говорил по-немецки, профессору помогал объясняться
переводчик. Тут бы и заговорить по-латыни, но сразу не
догадался так сделать, не решился, а когда спохватил-
ся, то Фрейтаг уже занялся с другим. Только 4. По ла-
тыни, которую Чернышевский так превосходно знал...

В общем экзамены прошли более чем удачно. Для по-
ступления нужна была сумма баллов, равная 33. Высшее
число — 55. Чернышевский набрал 49.

«Поздравляю, мой родной, с сыном студентом», — пи-
сала мужу Евгения Егоровна, собираясь отъезжать до-
мой в Саратов.

На другой день после экзаменов были заказаны шляпа

и шпага. Сначала хотели поискать в Гостином дворе подержанные, подешевле, но радость была так велика, что и расход на заказ показался законным.

Евгения Егоровна только все огорчалась, что уедет, не увидев сына в студенческом сюртуке. Впрочем, образчики сукон, из которых заказали шинель и сюртук, она брала с собою, чтоб отец по достоинству оценил дорогой материал...

До самой заставы проводил Чернышевский свою мать, когда двадцать шестого августа она вместе со спутницей выехала на «троешних» в Москву, чтобы ехать отсюда в Саратов «на долгих».

Впервые предстояло ему остаться одному в огромном, чужом, незнакомом городе. Не так ощутительна была разлука с родным домом, пока мать еще была здесь. Теперь она уносила с собою последнее родное тепло, близость которого придавала ему силы.

Но надо было крепиться, надо было поддержать и в ней твердость перед разлукой — и он с самым веселым лицом шутил, смеялся над тем, что матушка накупила в дорогу репы и тому подобных пустяков.

Расстались со слезами, но гораздо спокойнее, чем он ожидал... Евгения Егоровна обещала не тосковать дорогой, не думать много, а только «молиться Богу и играть в карты с Устиньей Васильевною...»

Глава девятая

Как и предполагалось, Чернышевский переехал в комнату к Раеву, снимавшему ее в квартире француза Аллеза в большом многоэтажном доме князя Вяземского на Гороховой улице у Каменного моста.

После спокойной, размеренной провинциальной жизни в дружной семье, с ее домовитостью, уютом, хлебосольством, предстояло одинокое на первых порах и скудное студенческое существование.

Евгения Егоровне оно рисовалось далеко не в радужном свете.

— Ну, что это за жизнь — тысячи полторы населяет дом, и никто друг другом не интересуется, никто знать друг друга не хочет. Не знаешь — кто подле вас, кем вы окружены... Ни дворова, ни садика. за каждую мелочь бегу в магазин.

Утешало ее лишь то, что все-таки не вовсе один будет жить ее сын, а на глазах у старшего родственника.

Раев в ту пору уже кончал юридический факультет Петербургского университета. Он был суховат, сдержан, подтянут, чрезмерно расчетлив, обладал многими задатками будущего делателя трудной чиновничьей карьеры в столице. У Евгении Егоровны эти качества Раева вызывали, пожалуй, даже уважение, но Чернышевскому он сразу не очень понравился. Впрочем, отступать было поздно, и он решил просто не выказывать своего нерасположения к некоторым чертам сожителя.

В довольно большой комнате, занимаемой Раевым и Чернышевским, стояли два дивана, заменявшие им кровати, полдюжины стульев, старый письменный стол, этажерка с книгами. И все.

По свойственной Чернышевскому привычке всегда изображать свое положение с лучшей стороны, он в письмах к родителям не уставал твердить о выгодах пребывания именно в этой квартире. Во-первых, хозяйни ее — француз. Следственно, можно выучиться говорить по-французски, не теряя ни времени, ни денег, подобно тому, как учился в Саратове у Грефа немецкому, а у торговца фруктами персидскому... Во-вторых... но тут Чернышевский забывал, что вторая выгода исключает первую, — вторая выгода заключалась в том, что дома, как правило, никого, кроме старой служанки, не бывает. Хозяин уходит на уроки с раннего утра и возвращается в одиннадцать вечера. Супруга его где-то гувернанткой и дома бывает только по воскресеньям, как в гостях. Сын Аллезов с утра до позднего вечера учится. Никто не может мешать занятиям — «мы решительно целый день одни...»

На поверку впоследствии оказалось, что отнюдь не бесшумно было в этой квартире. Возвращаясь с уроков, Аллез громко пел, беспрестанно разговаривал с сыном, словом, сильно мешал своим квартирантам, а обучать их французскому языку и не думал.

Нельзя принимать за чистую монету все, что сообщал Чернышевский в письмах к родителям о своем житье-бытье. Многие из того, что он писал о себе, сообщалось с явным расчетом усыпить их тревогу, обмануть их беспоконное предчувствие. Сначала это еще заметно и кажется лишь пустяком. Потом, по мере того, как окон-

чательно складывается особый внутренний мир юноши, совершенно чуждый духу его семьи, это несоответствие начинает все чаще проскальзывать в письмах.

На первых порах оно едва заметно, потому что духовная связь с семьей, традиции, общность представлений — все это было изжито Чернышевским вовсе не сразу, а после длительной и тяжелой внутренней ломки.

В начале своего пребывания в университете он был еще тысячами нитей связан с той средой, от которой только что оторвался. Ее идеалы, привычки, обычаи были ему близки и дороги. Только с течением времени стало ему ясно, что те интересы, какими он постепенно проникался в новой обстановке, несовместимы с духовным укладом оставленной среды.

И, по мере того, как зарождался, рос и ширился этот новый круг интересов, усиливалась внутренняя борьба в нем самом, приведшая в конце концов к кризису и разрыву с прежними традициями и представлениями.

На другой день после отъезда Евгения Егоровны Чернышевский присутствовал на торжественном молебне в университетской церкви и слушал потом наставление, с которым обратился к студентам ректор университета Плетнев, тот самый Плетнев, чьим другом был Пушкин.

Затем начались занятия. Чернышевский был целиком поглощен университетскими делами. Аккуратнейшим образом посещал лекции, постепенно знакомился с товарищами, привыкал к университетским порядкам.

Со свойственной ему пунктуальностью он уже высчитал расстояние от дома до университета — 16 минут ходьбы, 960 его двойных шагов, 1 верста 300 сажень, немногим больше, чем в Саратове от дома до семинарии. Это не только пунктуальность, но и одна из привычек попруженного в себя человека, не замечающего уличной жизни. Ведь и здесь, как прежде в Саратове, нередко случалось ему проходить мимо ворот своего дома, не замечая их.

Однообразный, ежедневный маршрут — из дома в университет, из университета домой — скоро примелькался до мельчайших подробностей. «Если я выхожу из дому, то иду все по той же вечной Гороховой улице или Невскому, мимо Адмиралтейства, в университет, и

потому ничего не вижу нового, кроме картинок, беспрестанно сменяющихся, которыми увешаны стены дома, где магазин граюор и литографий Даццаро».

С такою же пунктуальностью определил он и свой чрезвычайно скромный бюджет, точно установив, сколько потребуется ему на стол, на свечи, на перья, даже на мысу, на баню и мыло¹, определил несложный распорядок дня, чтобы жить по расписанию, по часам и минутам... Ведь он в деловом Петербурге.

Приподнято-радостное состояние не оставляло его, хотя восторг по поводу того, что он в университете, очень скоро сменился трезвой оценкой действительного положения вещей.

Уже через несколько дней после начала занятий он пишет отцу: «Все это, как видите, нечто вроде пустяков. Я не знаю, как вам писать это. Вы сейчас и станете опасаться, что «если считает пустяками, то станет пренебрегать, опускать лекции». Но разве я не говорил того же о семинарских классах ч опустил ли хоть один? Дружба дружбой, а служба службой, думай, как хочешь, а сиди и слушай... Та же отчасти история, что и в Саратове. Отчасти, слава богу, нет».

И он сидел и слушал, хотя уже твердо решил про себя, что лекционный метод во всем уступает методу английских университетов, где профессор читает предмет лишь двадцать, тридцать, много пятьдесят часов в год, да и то преимущественно обзревая библиографию своей науки. Ведь настоящее средство образования — книги, а не беседы. Давно миновало то время, когда ученики должны были идти в пустыню за Абельяром.

Так думал Чернышевский, едва приступив к занятиям в университете. Из двадцати одной лекции, читавшихся в неделю, лишь пять показались ему достойными внимания: две по всеобщей истории (читал Куторма), две по психологии (читал Фишер) да одна по славянским наречиям (Касторский). Программа по латыни и греческому выглядели слишком элементарными. Он знал эти языки в гораздо большем объеме. С пренебрежением отнесся Чернышевский также к курсу богословия. Не то, что бы

¹ Итого 20 рублей серебром в месяц: «Боже мой! Как дорого. Если бы я знал — не поехал бы сюда...»

у него пропал интерес к самому предмету, не то, что бы он отошел от религиозного мировоззрения. Нет, до этого было еще далеко. Просто Райковский, с точки зрения чрезвычайно начитанного в богословии вчерашнего семинариста, недостаточно глубоко знал свой предмет.

В эту пору Чернышевский еще весь во власти религиозных предрассудков, привитых ему в семье. Он усердно посещает церковь, он просит отца прислать ему роспись всем постам и постным дням, так как намерен строго соблюдать их.

Но наряду с этими давно сложившимися представлениям в душе юноши постепенно пробуждаются новые, которым суждено не только вступить в борьбу с прежними, но и преодолеть их. Впрочем, первоначально Чернышевский попытается примирить непримиримое и только впоследствии, осознав безнадежность этих попыток, откажется от них.

Чуждый скептицизму, всегда чувствовавший потребность всепоглощающей веры, Чернышевский был не просто формально религиозным человеком, как многие из его сверстников и товарищей. Пусть ошибочно рассматривал он религию, как силу, способную слить человечество в духе любви и братства, но, рассматривая ее так, молодой Чернышевский тем самым незаметно подготавливал для самого себя пути к отходу в будущем от религии к иной вере, которой он посвятит всю свою жизнь.

Ничто так не облагораживает юность, как сильно возбужденный общечеловеческий интерес, — говорит автор «Былого и дум». Широкие социально-этические проблемы общего характера волновали Чернышевского еще до поступления в университет. Пыпин вспоминает, что двоюродный брат его, еще будучи семинаристом, нередко проводил время в разговорах на общественные темы ю молодыми людьми из помещичьего круга, приехавшими из столицы на каникулы в Саратов.

В переходный, между семинарией и Петербургом, период Чернышевский, по словам Пыпина, был юношей, ревностно искавшим знаний и полным идеализма. Он зачитывался Шиллером, Жуковским, Пушкиным и, что особенно важно, был увлекаем не только поэтическими картинами, но и возвышенными социальными идеями.

В Петербурге это умонастроение его вступило в новую фазу быстрого развития. «Часто писал он мне длинные

письма по-латыни, — рассказывает Пыпин, — он касался в письмах таких вопросов, о которых было менее удобно писать письма по-русски. Здесь в первый раз к концу 40-х годов я увидел возможность крестьянского вопроса. В письмах в связи с историей говорилось о «glebae adscripti» и «terrae firmi», т. е. указывалось на самую сущность крепостного права.

Пыпин в это время был только в первых классах гимназии. Чернышевскому, еще не успевшему завязать дружеские отношения среди однокурсников в университете, нужны были собеседники, перед которыми он развивал бы любимые темы. Родители не могли быть такими собеседниками. Тогда он обращается к мальчику, пониманию которого эти темы едва ли были по-настоящему доступны, обращается к Любови Котляревской, которую, вероятно, вообще не очень-то волновали общественные темы.

Конечно, он не мог встретить здесь должного отклика. Несколько позднее, когда Чернышевский нашел друзей и собеседников в университетской среде, эти мотивы в письмах к близким людям детской поры стали звучать реже, а потом и вовсе исчезли.

Но в конце 1846 года студент Николай Чернышевский по праву старшего друга дает Пыпину невинное с виду задание перевести с латинского несколько протеевых стихов — *versus protei*, — особенность которых состоит в том, что они допускают любую внутреннюю перестановку слов без нарушения смысла и размера.

Переводя эти стихи, гимназист Пыпин усваивал опасные истины, показывающие, в каком направлении работала мысль его старшего друга и брата: «Пусть восторжествует справедливость или погибнет мир», «Пусть исчезнет ложь или рушатся небеса», — вот какие «лозунги» подбирал для протеевых стихов студент Чернышевский.

В Петербурге знакомится он с новым романом модного в ту пору Эжена Сю «Мартин Найденыш». Едва приступив к чтению романа, Чернышевский спешит посвятить Любовь Котляревскую в содержание и смысл этого произведения.

Интерес к «Мартину» был подогрев тем, что он слышал еще раньше: цель романа — изображение бедственного состояния крестьянства во Франции и попытка

указать средства к устранению насилия и гнета над низшими классами.

Размышляя попутно и о «Парижских тайнах» того же Сю, Чернышевский задается вопросом о возможности нравственного возрождения людей, искалеченных социальными условиями. Он уже отчетливо видит, что в мире царит несправедливость, что человечество погрязло в пороках, что оно корчится в муках не по своей вине, а в силу каких-то определенных условий, борьба с которыми мыслится юноше еще в плане христианского вероучения.

— Какая высокая священная любовь к человечеству у Сю! — восклицает он. — Удивительно благородный и, что всего реже, в истинно христианском духе любви написанный роман...

И приверженность к возвышенным идеям, и увлечение свободолобивой поэзией Шиллера, и пристальное внимание к крестьянскому вопросу, и страстное желание юноши, чтобы в мире восторжествовала справедливость, — все это показывает, что уже тут мы имеем дело с некоторыми зачатками будущей системы взглядов утопического социалиста. Но это только зачатки, только первые попытки осмыслить миропорядок в свете общих социальных идей. Они еще сливаются с религиозным строем мыслей Чернышевского, но почва для их развития в ином направлении уже подготовлена.

В 1846 году в университете будущий великий мыслитель, слушая бессодержательно пышные лекции Райковского, еще мог скорбеть о том, что тот не понимает, откуда грозит опасность христианству и православию. Ведь теперь «должно бороться не с греческим и римским язычеством, не с Юпитером и братиею его, а с деизмом, не с папизмом, который давно уже пал, а с гегелианизмом и неологизмом».

Это писалось до знакомства с книгами Фейербаха. Да и система Гегеля была известна тогда Чернышевскому лишь в общих чертах и, скорее всего, в русских изложениях. Мог ли думать будущий проповедник Фейербаховской философии, какой переворот совершится в его мировоззрении через два-три года? Мог ли он предполагать, что ему придется отречься от религии и принять Гегеля, а затем стать последователем Фейербаха?

Достаточно было возникнуть самому этому вопросу

ро опасности философии для религии, чтобы в душе Чернышевского, всегда пытливо анализовавшего свои взгляды, началась сперва почти незаметная, а затем все более усиливавшаяся внутренняя ломка.

Совсем не по возрасту были серьезны тогда запросы Чернышевского. Читая поэму А. Майкова «Две судьбы», он стремится вместе с поэтом проникнуть в причины умственной закоснелости русского общества.

И не зажгла наука в вас собой
Сознания и доблести гражданства.

Строки эти вызывают у него пылкие, искреннейшие, пророческие мысли о своем призвании, о будущем родины.

Многим памятна отроческая клятва Герцена и Огарева на Воробьевых горах.

Рядом с Чернышевским в то время еще не было такого друга, сердце которого билось бы в унисон с его сердцем. — Взволнованный мыслями, вызванными чтением «Двух судеб», он пишет тому же Пыпину письмо, которое звучит, как клятва: «Решимся твердо, всей силой души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чуждою жизни духовной нашей... Пусть и Россия внесет то, что должна внести в жизнь духовную мира... выступит мощно, самобытно и спасительно для человечества... на великом поприще жизни — науке... И да совершится через нас хоть частично это великое событие!.. Содействовать славе не переходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вождеденнее этого?»

Вот степень требовательности Чернышевского.

Мы помним, что своего семинарского друга Михаила Левицкого он считал человеком, в иных условиях способным стать гордостью России. Не столь уж важно, преувеличено ли это мнение, — гораздо важнее то, что оно обнаруживает желание юноши видеть и себя и своих друзей людьми, поддерживающими честь родины.

С таким чувством вступил Чернышевский в университет, и ему казалось, что он встретит здесь немало достойных людей.

Верный «духу студенческого сословия», он радовался успеху каждого товарища, пусть даже тот не был знаком ему лично.

Вот о студенте А. Плещееве пишут в «Отечественных записках» как об одном из лучших поэтов современности. Чернышевскому «вдвойне приятно» сообщить об этом родным, — словно бы слава Плещеева коснулась и его самого.

В это время начали у него устанавливаться очень близкие отношения с вольнослушателем университета М. Михайловым, впоследствии видным поэтом и революционером. Познакомились они на первой же лекции и сошлись очень скоро, но более тесному сближению мешало резкое различие их характеров.

Насколько Чернышевский был замкнут, сдержан, осторожен в проявлении чувств, настолько Михайлов был открыто эмоционален, изменчив в настроениях, легко переходил от серьезности к внезапной иронии. В его натуре «было слишком много нервности чисто женской, его легко было огорчить и вызвать на глазах слезы, но огорчения его обыкновенно сменялись веселым настроением».

Различие проявлялось и во внешнем поведении товарищей. Один был неловок, угловат, провинциален, в манерах и движениях другого бросалось в глаза природное изящество, внутренняя грация, то сильно развитое «чувство формы», о котором говорит ближайший друг Михайлова Шелгунов.

Михайлов получил хорошее домашнее образование, но экзаменов в университет не выдержал, потому что плохо подготовился к ним, всецело поглощенный литературной деятельностью. Ему пришлось поступить в университет вольнослушателем. На первой же лекции Михайлов обратил внимание на близорукого бледного студента в стареньком форменном сюртуке.

— Вы, вероятно, второкурсник? — обратился Михайлов к студенту.

— Нет, а вы. должно быть, судите об этом по сюртуку?

— Да.

— Так он с чужого плеча. Я купил его на толкучке, — отвечал Чернышевский, и между ними завязалось знакомство.

Несомненно, под впечатлением этой встречи писал он 30 августа 1846 года в Саратов: «Некоторые из них (студентов. — Н. Б.) кажутся мне такими замечательными

по познаниям и дарованиям, что я не полагал иметь таких хороших».

В семинарии Чернышевский привык быть преимущественно полезным для других. Теперь дружба могла принести пользу и ему. В лице Михайлова он встретил редкого знатока иностранной литературы. Недаром его называли «ходячей библиографией». Кроме восточных, древнегреческих и латинских поэтов, он знал всех видных английских, немецких, французских писателей.

Михайлов уже изведal первые, приятно кружащие голову успехи на литературном поприще. Он печатал в «Иллюстрации» Кукольника оригинальные и переводные стихотворения, статьи, заметки.

Чернышевский сразу понял, что Михайлова ждет большое будущее, что из него выйдет человек замечательный. Это знакомство способствовало расширению кругозора Чернышевского. Сам он тогда знал западную литературу еще довольно слабо.

Они стали бывать друг у друга чуть ли не ежедневно, вместе читали «Отечественные записки», «Современник», толковали по целым вечерам напролет о литературе, о политике, об университете. Но и по прошествии нескольких месяцев Чернышевский оговаривался, что «еще не так дружен с ним, чтобы говорить от души о том, что лежит на сердце». «Мы часто бываем друг у друга... он со мною откровенен, очень откровенен, но у него уж такой характер, не то, что у меня. Впрочем, и я с ним гораздо более откровенен, нежели с другими...

Чем больше я стал узнавать его, тем более стал любить, хотя и не скажу, чтобы все мне в нем нравилось, но все же я его более всех других люблю...»

Может быть, впоследствии эта дружба и окрепла бы, если б Михайлов вскоре не вышел из университета.

Глава десятая

На филологическом отделении первокурсников было сравнительно немного и выглядели все они очень молодо, походя больше на гимназистов четвертого—пятого класса, чем на студентов. Среди небольшого числа их человек восемь-десять — поповичи, вчерашние семинаристы. Еще в тридцатых годах в университет начался

приток разночинцев, заставивший потесниться детей дворян¹.

В сороковых годах университеты уже решительно заполнились семинаристами, выходцами из чиновничьей и мещанской среды.

Чернышевский попал в университет как раз в промежутке между наибольшим наплывом туда этой категории учащихся и последовавшими вскоре предупредительными мерами николаевского правительства, которое после событий 1848 года на Западе старалось искусственно приостановить наплыв разночинцев.

Именно в 1848 году в секретном циркуляре министра народного просвещения Уварова указывалось, что «при возрастающем повсюду стремлении к образованию наступило время пеших о том, чтобы чрезмерным этим стремлением не поколебать некоторым образом порядок гражданских сословий, возбуждая в юных умах порыв к приобретению роскошных знаний».

И действительно, через год число вновь принятых в университет студентов было сведено к минимуму: на первый курс филологического факультета Петербургского университета в 1849 году попало два человека!

Вступив в университет, Чернышевский не замедлил отметить, что и среди профессоров встречаются люди из социально близкой ему среды. Он чувствовал особую симпатию к таким профессорам. Это сказалось даже в «полемике» с отцом о важности изучения французского языка.

Гавриилу Ивановичу очень хотелось, чтобы сын в совершенстве овладел языком светских салонов. Сын возражал, доказывая, что не обязателен этот язык, что неумение болтать по-французски (а болтать научились даже и лакеи) теперь уже не говорит о плохом воспитании. Важно для дела знать язык книжно, если нет возможности добиться настоящего произношения. Он берет в пример профессоров Никитенку, Устрялова, Неволлина. Они не говорят ни на одном из новых язы-

¹ Пушкин писал в черновых набросках 1833—1835 гг.: «Даже теперь наши писатели, не принадлежащие к дворянскому сословию, весьма малочисленны. Несмотря на то, их деятельность овладела всеми отраслями литературы, у нас существующими. Это есть важный признак и непременно будет иметь важные последствия».

ков. Где им было смолоду выучиться говорить? Никитенко и Устрялов — вольноотпущенники Шереметева, а Неволин — «ведь вы знаете, кто он?» — спрашивал сын, имея в виду духовное происхождение Неволина. — Органов закрубелых уже не переломить, а лучше вовсе не говорить, чем смешить своим произношением».

Однако не во всем мог равняться на вчерашних вольноотпущенников-профессоров Чернышевский. Выдвигаясь, вступая в общество, они нередко растворялись в нем, дух свободомыслия и протеста покидал их, они постепенно примирались с существующим порядком вещей и волей-неволей начинали способствовать «видам» правительства.

Они не были такими ревностными слугами самодержавия, как попечитель петербургского учебного округа граф Мусин-Пушкин, один вид которого приводил Чернышевского-студента в содрогание. Их могли даже возмущать какие-нибудь «крайности» в правительственных мерах, но и тут они не шли дальше выражения тайного недовольства под маской полной внешней покорности. Как показателен в этом смысле путь того же Никитенки...

Испытывая на себе постоянный гнет официальной самодержавно-бюрократической точки зрения, они не решались, не смели прямо идти против нее, старались лавировать между Сциллой и Харибдой. Положение их было довольно жалким. Это инстинктивно и остро чувствовала молодежь, пришедшая к ним учиться.

Вот почему Чернышевский так быстро разочаровался, перестал ждать чудес от университета. Вот почему Михайлов, проучившись год с лишним, предпочел отправиться в Нижний служить, а третий их общий приятель — Лободовский, пешком пришедший из Курска в Петербург, чтобы поступить в университет, так же очень скоро осознал, что здесь учатся ради дипломов, а не ради подлинного просвещения.

Понял это и Чернышевский («...живешь здесь без существенной пользы, так для формальной только. Странно, пользы нет, а нельзя, хоть и не быть в университете»)...

Другого выхода не было. Нужно учиться хотя бы и ради диплома, чтобы не пропасть, не раствориться потом в бесчисленной массе чиновников. Только обучение

в столице и диплом открывали какую-то перспективу в будущем. В противном случае жизнь оттесняла, отбрасывала людей его круга на задний план.

Отцу своему Чернышевский писал:

«Такой уж теперь порядок вещей, что для того, чтобы быть чем-нибудь (о выскочках не говорим: ведь это исключения), надобно учиться в высших заведениях и служить в столице: без этих двух условий так и останешься ничем, как был».

А польза от университета действительно была только формальной. Да иначе и быть не могло. Гласными и негласными предписаниями, устными и письменными внушениями, «пожеланиями» и указами всякого рода стеснена была деятельность каждого из профессоров. Никитенко, например, в своем дневнике рассказывает, как однажды на чрезвычайном собрании совета университета под председательством Мусина-Пушкина прочитано было предписание министра, составленное «по высочайшей воле», в котором разъяснялось, как должны были понимать г.г. профессора «нашу народность и что такое славянство по отношению к России».

Предписание гласило, что «народность... состоит в беспредельной преданности и повиновении самодержавию, а славянство западное не должно возбуждать в нас никакого сочувствия». Оно, дескать, само по себе, а мы сами по себе. Его величеству угодно было считать тогда, что западное славянство уже «окончило свое историческое существование», и на основании этого министр Уваров изъявлял желание, чтобы профессоры с кафедры «развивали нашу народность не иначе, как по этой программе и по повелению правительства. Это особенно касается, — отмечал Никитенко, — профессоров славянских наречий, русской истории и русского законодательства».

Неудивительно, что у питомцев университета создавалось впечатление, что на филологическом отделении им приходится только даром терять время. Рутинизм и формализм, пустословие и букввоедство...

В дружеских беседах между собой студенты смеялись над «светилом эллинской мудрости», семидесятилетним профессором греческой словесности Грефе, которому без неправильных глаголов и жизнь была бы не в жизнь. По своим взглядам, точнее сказать, по совер-

шенному отсутствию их, этот старец казался Чернышевскому десятилетним младенцем. Грефе знать ничего не хотел, кроме этимологии греческого языка.

Как и Фрейтаг, он читал свои лекции и экзаменовал на латинском языке. Был он в сущности добр, но вспыльчив до крайности. Рассердившись, бросал книгу на пол, топал ногами, крича: «Abi ad malam rem!» (Поди к чорту!) Впрочем, удачный ответ заставлял его сразу смягчаться. Знания учеников проверял он пылливо, пуская в ход «римские сарказмы».

— Да, склонения ты знаешь но, может быть, на этом и кончаются твои познания? — язвительно говорил Грефе по-латыни экзаменующемуся.

— А ты спроси! — отвечал ему в лад по-латыни последний.

Профессор всеобщей истории Куторга читал нараспев томным высоким голосом, рисовался, позировал перед слушателями. В его манере говорить было какое-то «заискивающее ломанье».

Цветисто рассказывая о столкновениях греческих войск с персидскими на море и на суше, Куторга постоянно мучил студентов ничтожными подробностями о разных родах тогдашних вооружений.

— Представьте себе, — начинал он торжественно и с кокетливой улыбкой, — представьте себе в северо-восточном углу Греции крошечное местечко; самый малюсенький, — показывал он на пальце, — ничтожный пункт во всей Элладе.

Все старались представить себе, но затем в скором времени начинали позевывать, потому что речь шла о таком пустяке, из которого, как ни бейся, никакого смысла не выжмешь.

Студенты ждали, что историк раскроет перед ними широкую картину античной жизни, а он часами занимался лингвистическим анализом тех или иных слов, различно употребляемых в греческих диалектах, или подробнейшим описанием воинских доспехов у персов и греков.

Благодушный, но недалекий И. Я. Соколов, преподаватель греческого языка на младших курсах, вовсе забывал о своем предмете, развлекая студентов рассказами о волжских видах, об особенном полете чаек над Волгой до бури, во время бури и после нее.

Преподавание словесности и истории русской литературы не могло удовлетворить тех студентов, которые умели мыслить самостоятельно. Кафедру словесности занимал А. В. Никитенко, истории литературы — П. А. Плетнев.

Оба были незаурядными литераторами — имена их уцелели в истории литературы, но менее всего сказались их даровитость в преподавании. Студентов удивляло даже, почему Плетнев, высказывавший иногда в своих статьях дельные и верные мысли, предавался на лекциях «усыпительной болтовне», а Никитенко старательно избегал касаться «острых» вопросов, затронутых в том или ином произведении, останавливаясь, главным образом, на его внешней стороне. Плетнев вечно искал «примиряющей середины» и как-то особенно чурался «крайностей», недолюбливал оригинальности, если она не подходила под его излюбленную мерку... И Никитенко тоже в тех случаях, когда ему все-таки приходилось освещать внутреннюю «принципиальную» сторону разбираемого произведения, ловко лавировал между рифами, отделяваясь туманными рассуждениями о высоких отвлеченных материях.

Основной причиной этой уклончивости было само время, «чреватое будущим», как любил говорить Никитенко. Расплывчатый либерализм этих видных университетских наставников, робкая половинчатость и бесформенность их идейных устремлений, подавленных страхом перед требованиями казенной идеологии, были очень скоро по достоинству оценены Чернышевским.

Глава одиннадцатая

Внешняя жизнь Чернышевского текла очень однообразно. Он ходил на лекции, в библиотеки, встречался с товарищами, спорил, беседовал с ними. Так проходили дни, недели, месяцы.

Регулярно писал письма домой. Очень много читал. И книги как-то заслоняли все. Случится ему достать намеченную книгу, вроде «Истории Гогенштауфенов» Раумера, и настроение становится радостным. Наоборот, не удастся достать нужную — он готов впасть в хандру. От посещения театров удерживался, боясь, что театр отвлечет его от занятий. Родителей уверял, что

терпеть не может театра. Вознамерился было посещать музыкальные вечера по воскресеньям в университете, но раздумал, — нужно было заплатить за зиму три рубля серебром. Лучше потратить их на книги.

Университетские танцевальные вечера показались ему просто смешными — и за кавалера и за дам выступали студенты. Студенческие пирушки проходили без него. Вина в рот не брал — нестерпимо скучными считал он подобные развлечения.

Ходил иногда в гости к землякам, знакомым и друзьям своего отца. В Петербурге было немало уроженцев Саратова. Иные успели добиться хороших чинов, жили привольно и широко. Родители всячески внушали сыну, что необходимо поддерживать полезные знакомства. Порой он готов был покорствовать их желанию, но мешала присущая ему чувствительность и щепетильность. Мало-мальски неделикатное проявление покровительства с чьей бы то ни было стороны непременно бы задело его. Да и ненужным считал он заводить знакомых, которым следовало наносить визиты, сидеть у них молча или толковать на безразличные темы. Стоит ли ради этого тратить несколько целковых на завивку и на белые перчатки?

Внешняя жизнь шла удивительно бессобытийно. Но ведь «есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная. Это-то и есть истинная жизнь. В ком есть она, тот занимается внешнею жизнью и заботится о ней только настолько и постольку, чтобы она не мешала внутренней».

Вот почему с таким стоическим спокойствием переносил Чернышевский все лишения, невзгоды и неурядицы в быту. А их было много. Отсутствие сколько-нибудь свободных денег давало чувствовать себя на каждом шагу. Ему во всем приходилось ограничивать себя, все время изворачиваться, выкраивать рубли и копейки, чтобы сводить концы с концами. К этим грошевым заботам примешивалось постоянно мучившее сознание, что родителям не дешево обходится его жизнь в Петербурге. Каждый мало-мальски значительный расход наносил ему рану.

Подступала зима. Требовалась экипировка. Он готов был обойтись без шубы — благо до университета пятнадцать минут ходьбы, а в баню можно ходить и в тулупе. Но как обойтись без мундира и без шинели? Он

намеревался купить подержанный мундир за полцены у какого-то сенаторского сына, но, увы, воротник на этом мундире оказался бальный, то есть был вышит не просто гладким золотом, а с блестками. Приходится заказывать мундир. «О как дорого здесь жить! Как все здесь дорого. Ужас!»

Он сокрушается по поводу того, что белый хлеб здесь в три с половиною раза дороже, чем в Саратове. Театр, извозчики — все это прихоти, о которых нечего и думать. Он будет пить чай только по воскресеньям или вовсе не пить его, чтобы свести расходы буквально к минимуму!

На первый взгляд это беспокойство кажется просто непонятным. Ведь он — единственный сын. Но семью Чернышевских нельзя отделять от многодетной семьи Пыпиных. Все тяготы жизни ложились на обе эти семьи, повидимому, равномерно.

Родители успокаивали Чернышевского. Не доверяя им, он старался стороною выведать, как отзывается его пребывание в столице на бюджете отца. Он с нетерпением ждет, когда же наконец будет самостоятельно зарабатывать хотя бы уроками. Он убежден в том, что блага жизни сами по себе вовсе не должны быть предметом забот и желаний, что это только условие, только средство, без которого немыслима истинная, то есть внутренняя, жизнь. Лишь бы хлопоты и заботы не мешали настоящей жизни. Но они-то не оставляли его в покое ни на минуту.

И потому так часто приходилось писать своим о «материальностях», без конца делить и умножать, складывать и вычитать какие-то цифры, как будто и впрямь эти рубли и копейки могли занимать его воображение.

Отцу и матери представлялось, что редкие способности сына сразу же обратят на него внимание университетского начальства. Беспокойное честолюбие матери прорывалось в прямых вопросах — кто из профессоров отличил сына среди остальных студентов? И хотя Чернышевский отвечал, что Фишер и Касторский показали свое расположение к нему, однако не это, в сущности, интересовало его теперь. Сам он, правда, намеревался в дальнейшем пойти «по ученой части», но дух неверия в казенную науку уже коснулся его.

Он видел, что в настоящих условиях ничего, кроме вершков, в университете не нахватается. Он не на шутку озадачен тем, что «почему-то нашим знаменитостям плохо удаются экзамены» и что они, знаменитости, «не в дружбе с правительством вообще». Перед ним встают примеры Белинского, Искандера и еще более близкий пример Плещеева, который «вышел в поэты и вышел из университета». Вот и Михайлов собирается покинуть «святилище наук». И новый друг Чернышевского Лободовский с злобной иронией твердит о пустоте университетского преподавания.

Да и сам Чернышевский не скрывает от отца, что очень доволен приближением «невских каникул», которые наступят во время ледохода, когда разведут Исакиевский мост через Неву и занятия поспевают прервутся, пока не наладится переход по льду.

Юноша был далек от полной откровенности с родными, но все-таки в письмах нет-нет и проскользнет какая-нибудь «еретическая» мысль, и тогда отец осторожно выпытывает—кто такие его друзья и смотрит ли начальство за частной жизнью студентов?

Письма из дому словно бы звали его назад. Иногда он читал их Раеву; кроме Раева, ему не с кем было поговорить о саратовцах, о прежнем житье.

Временами он сильно скучал по дому и начинал считать, сколько месяцев и недель осталось до переходных экзаменов в мае будущего года и до летних вакансий, когда можно будет поехать на родину.

Особенно тоскливо тянулось время в зимние праздники. День его именин, именин матери, рождество, Новый год, — они всегда так шумно проходили в кругу семьи, а здесь только подчеркивали его одиночество.

Утром шестого декабря, погруженный в раздумье, побрел он в Казанский собор. Полукруг колоннады напомнил ему изображение храма Петра в Риме, виденное еще в детстве в «Живописном обозрении».

Огромный собор, несмотря на наличие сотен людей, казался пустующим. Только у гробницы Кутузова теснилась толпа. Стены были наполовину покрыты знаменами. Слушая, как поют на клиросах, он мысленно переносился в Сергиевскую церковь.

На следующий день Чернышевский и Раев перебирались на новую квартиру на Малой Садовой, к пожилой

немке-кухмистерше. Чернышевский сам перетащил свои книги: Вергилий, Гораций, Цицерон, вывезенные еще из Саратова, несколько учебников, лексиконы, грамматики, хрестоматии — греческая, латинская, английская, арабская, персидская, завет на татарском языке, геснеровская поэма «Смерть Авеля» да еще десяток случайно купленных на Апраксином рынке книг.

В рождественские праздники он никуда не пошел с визитами, а целыми днями лежал на диване, занимаясь английским языком, читал книги, взятые из университетской библиотеки. Вечером тридцать первого декабря остался один в квартире — Раев пошел встречать Новый год к своим знакомым, баронессам Гейнинг.

На улице была легкая оттепель. Чернышевский долго смотрел из окна, как вереницами тянулись кареты и сани, разрыхляя снег, как поспешно проходили по улице офицеры, чиновники, дамы в салопах с собольими воротниками, потом уселся за письменный стол и, низко наклонившись над бумагой, принялся писать поздравления родителям, крестному, латинисту Воскресенскому, Саблукову...

Двенадцатый час застал его за письмами. Он вдруг поднялся и вслух громко стал поздравлять отца и мать с Новым годом, воображая их перед собою. Еще месяц тому назад в гостях у чиновника-земляка — Олимпия Яковлевича Рождественского он получил неприятное известие о том, что против отца снова, как и в 1843 году, — когда его исключили из консистории, — подняли какое-то дело. А третьего дня пришло от отца письмо, в котором он сетовал на интриги и тайные «ковы», устрояемые против него. Чернышевский очень живо представил себе, как огорчен отец в эти дни, слезы обиды за него подступили к горлу, и он в третий раз громко повторил: «Поздравляю вас с Новым годом, желаю вам провести его счастливо, благополучно, беспечально и весело...»

Глава двенадцатая

Некоторое оживление в застойную атмосферу факультета внес молодой профессор И. И. Срезневский, переведенный в начале нового года из Харьковского в Петербургский университет на кафедру славянских наречий. Он читал с живостью, резкостью и подушевле-

нием, которые невольно увлекали слушателей. Рассказывая, он пользовался богатым запасом собственных наблюдений, вынесенных из путешествия по славянским странам.

Инициативный, преданный своей науке, Срезневский сумел вовлечь студентов в самостоятельную работу над летописями и другими памятниками старины, изучение которых считал необходимым условием основательного знакомства с историей развития отечественного языка.

Чернышевский был одним из первых, кто сразу же с необычайным рвением отдался этому делу. Нарезая из бумаги карточки, он заносил на них в алфавитном порядке, — как учил профессор, — все слова, встречающиеся в летописи Нестора.

Под знаком такой кропотливой, механической, ничего не дающей ни уму, ни сердцу работы проходили у него целые месяцы. Случалось, что он просиживал над заполнением этих карточек по восьми, по десяти, иногда даже по двенадцати часов в сутки.

От этого египетского труда не отвлекли Чернышевского ни первое увлечение, казалось бы целиком захватившее его, ни страстный интерес к революционным событиям 1848 года на Западе, чрезвычайно способствовавший кристаллизации его политических взглядов.

Трудно себе представить что-нибудь более несовместимое, чем живая, пытливая мысль молодого Чернышевского и мертвое буквоедство, о котором так насмешливо отзывался он сам спустя двадцать пять лет.

«И я в твои годы, — пишет Чернышевский сыну в 1877 году, — был настолько наивен, что копался в каком-то шафариковском мелкословии... переписывал какую-то пустяковщину из каких-то харатейных драгоценностей Румянцевского музеума... Так велика была моя ученость, что печатных книг уже не доставало для ее насыщения и дошло дело до пожирания пергамента...

Вообрази, в нем (словаре — Н. Б.) были перечислены все места, в которых попадаете слово «идти», или слово «ехать», или слово «земля», — можно верить такой невообразимой глупости? Так этого было еще мало, друг, было там еще и не то, там были перечислены все места, где употреблено слово «ты», слово «я» — и даже — о ужас! — слово «и». А слово «и» попадаете почти во всякой строчке... и пошел воин, и пришел

воин, и звали его Иван, и пришел другой воин, и звали его Павел, и пришел Степан, и Петр, и Сидор и... и... и... И все эти «и» были у меня собраны и перечислены с такою старательностью, как жемчужины, по ореху величиною, заботливо нанизываются на нитку, чтобы не затерялась ни одна из таких драгоценных редкостей. Это была славянская филология».

Но по странной иронии судьбы «партизан социалистов и коммунистов» (как называет себя в дневнике 1848 года Чернышевский) должен был убивать время на шафариковское мелкословие и харатейную пустяковщину.

Секрет самой возможности подобного совмещения заключался, с одной стороны, в том, что узкий и специальный предмет Срезневского был все-таки связан в глазах молодого студента с самостоятельной деятельностью, тогда как на остальных лекциях занимались большею частью переливанием из пустого в порожнее. С другой стороны, не только при первом знакомстве с Срезневским в 1847 году, но даже и несколькими годами позже Чернышевский еще не мог с уверенностью сказать, что его будущее связано с литературой, с публицистикой, с «Современником». Нет, житейская необходимость толкала его на путь чисто научной деятельности.

Он предполагал получить впоследствии ученую степень, а в таком случае он должен был заранее наметить профессора, который выдвинул бы его и оставил потом при университете. А тут как раз Срезневский сразу оценил систематичность, методу, добросовестнейшую внимательность Чернышевского в работе. Навыки, полученные последним еще в Саратове от Саблукова, сказались теперь. Заслуженное поощрение удваивало энергию Чернышевского. Вот почему он мог так долго и рачительно заниматься самой черной работой по филологии.

Будь Срезневский только сухим ученым, вряд ли удалось бы ему увлечь Чернышевского в дебри мелкословия. Живой и восприимчивый ум Срезневского, самостоятельность его мысли и беззаветная преданность науке импонировали юноше.

Срезневский не считал филологию основою основ, рассматривал ее как вспомогательную науку, на которую опираются история, психология и т. д. Но вместе с тем он «не понимал дарования, если оно не погубило

нескольких лет над составлением лексикона или **разбором** пары строк халдейских слов».

Может быть, судьба его собственного незаурядного дарования, замкнутого в слишком узкие рамки, простого сложного пути, вызвала у него пренебрежительное отношение ко всему, что давалось без видимых усилий и напряженного труда.

Его литературные суждения иногда удивляли студентов. Им казалось непостижимым, как это он при своем дельном и ясном уме ставит Гоголя на одну доску с Нарежным, лучшую вещь Белинского находит его юношескую трагедию «Дмитрий Калинин» и, наоборот, сурово отзывается об его критических статьях.

Но Чернышевский буквально воодушевлялся на лекциях Срезневского. Тот умел увлечь его даже и тогда, когда высказывал совершенно парадоксальные суждения о том, что беллетристика и критика в сравнении с наукой — вздор, что Белинский — человек малосведущий в чем-нибудь, кроме новейшей литературы, и т. п.

«Это меня несколько встревожило, — записывает Чернышевский, — он, однако, увлек и оказался одним из лучших, кого я слышал».

И до тех пор, пока деятели французской революции не заняли безраздельно воображение юноши, он прямо-таки преклонялся перед Срезневским, считая его в некотором роде исторической фигурой. Только к концу 1848 года это влияние как бы ослабело: «Другие люди, т. е. главным образом французы, теперь действующие или недавно действовавшие, история, особенно новейшая, и политическая экономия заняли мои мысли, и русские все как-то исчезают. Но, конечно, я и раньше его (Срезневского. — Н. Б.) не сравнивал с великими действителями Запада, но мало о них думал, поэтому более места оставалось для него».

Между тем Чернышевскому пришлось пережить из-за этого сближения с профессором немало неприятных минут. Строгость Срезневского как экзаменатора скоро вызвала у студентов резкое недовольство, которое они едва не перенесли и на Чернышевского, охотно выполнявшего учебные поручения профессора и намеревавшегося подготовить ему сочинение на медаль.

Нападки Срезневского на современную беллетристику и критику несколько встревожили Чернышевского, но,

увлекаемый воодушевлением профессора, он даже не останавливается на рассмотрении того, насколько последний прав в своей оценке Белинского. Чернышевского тревожит и заставляет усомниться лишь самое отрицание чрезвычайных заслуг беллетристики и критики перед обществом.

Биографы Чернышевского обычно представляют дело так, что, с одной стороны, политические события на Западе, с другой — статьи Белинского толкали в это время молодого Чернышевского на революционный путь. В отношении Белинского это не совсем верно.

Дневники Чернышевского 1848—1851 годов, раскрывающие перед нами правдивую и очень подробную картину его внутреннего становления, содержат всего два три упоминания о Белинском, которые отнюдь не говорят о восторженном отношении к великому критику. Эти записи весьма сдержанны — чувствуется, что весь смысл деятельности Белинского еще не раскрылся юноше, чувствуется неполное знакомство с его статьями, временами прорываются даже ноты осуждения.

В начале 1848 года он с оговоркою одобряет статьи Белинского о Пушкине, но резко высказывается о взгляде критика на романтизм: «Белинский был тогда (т. е. в эпоху статей о Пушкине. — Н. Б.) не то, что в последних своих статьях, где пошлым образом говорил о романтизме».

Где же тут благоговейное отношение? А ведь это писалось несколько месяцев спустя после смерти Белинского, которая, кстати сказать, вовсе не была отмечена в дневнике Чернышевского.

Говоря о Белинском в начале 1847 года, будущий истолкователь критики гоголевского периода не скрывал своего недовольства им за его выступления против мистико-моралистических сочинений Гоголя: «По поводу предисловия ко второму изданию «Мертвых душ», в котором Гоголь просит каждого читателя сообщать ему свои замечания на его книгу, было высказано столько пошлых острот или плоскостей в «Современнике», что можно предвидеть, что за письма к друзьям Гоголя не постыдятся назвать в печати сумасшедшим Некрасов, Никитенко и Белинский с товарищами, как недавно провозгласили его эти господа на словах».

Наивно объяснять возникновение этого письма тем,

что Чернышевский будто бы хотел успокоить отца, который боялся влияния столичного свободолюбия на своего Николеньку и, в частности, влияния знаменитого критика. (А кого же в таком случае «успокаивал» Чернышевский в своем дневнике?)

Деятнадцатилетний юноша, выросший в саратовской глуши в атмосфере патриархально-религиозной семьи, не мог после нескольких месяцев пребывания в Петербурге сразу же превратиться в последовательно мыслящего революционного демократа. Этот путь был более сложным и длительным.

«Пошлым» островам «Современника» по поводу гоголевских «Выбранных мест из переписки» Чернышевский противопоставил тогда анонимную статью об этой книге, напечатанную в журнале «Иллюстрация»: «Тем приятнее было прочитать благородную и умную статейку в № 3 «Иллюстрации», в которой прямо и без страха высказывается истинный взгляд на это благородное самопризнание, «Исповедь» Гоголя... Утешила меня эта статья. И вдруг вчера я узнаю, что она написана моим товарищем по факультету и близким знакомцем, который ничего еще не печатал, не хотел и этого печатать, но не смог не написать и не послать в «Иллюстрацию», в порыве чувства. Очень, очень мне было приятно это».

Автором анонимной статьи был, по всей вероятности, В. П. Лободовский. Этот горячий поклонник Гоголя сыграл в жизни молодого Чернышевского очень большую роль. Его воздействие на Чернышевского было особенно сильно в первые три года их пребывания в Петербурге.

Чернышевский тогда чувствовал себя перед Лободовским, как «перед судьбою». Любое мнение последнего он принимал безоговорочно, расточая ему самые неумеренные похвалы.

Должно быть, довольно близко сошлись они еще в начале 1847 года, а позже знакомство их перешло в тесную дружбу.

В своих разговорах они не раз возвращались к полемике Белинского с Гоголем.

Как жадно ловит Чернышевский каждое слово старшего друга: «Придя ко мне, он сказал: «Счастливы вы, что не уважали (никого) кроме Гоголя и Лермонтова.—

«Мертвые души» далеко выше всего, что написано по-русски».

После, дорогою тоже говорил, что предисловие (ко второму изданию «Мертвых душ». — Н. Б.) не кажется ему странным, напротив — вытекает из книги, и что он ничего не видит смешного в этом, — это меня обрадовало. «А эти господа (т. е. опять все те же Белинский, Некрасов и Никитенко. — Н. Б.), которые осуждают... — говорит он, — ничего подобного не чувствовали, поэтому не понимают (так в самом деле) и (новая мысль для меня, с которой я совершенно согласен), напиши он это же самое короче, другими словами, все бы говорили, что это так...»

Даже и в 1848 году, когда Чернышевский увлекается некоторыми идеями и мнениями Белинского, он все еще упорно не соглашается с его оценкой «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Сперва эстетическое развитие Чернышевского шло не столько вширь, сколько вглубь. Позднее за очень краткий промежуток времени его кругозор в области литературы изменился неузнаваемо.

В «Современник» он пришел уже совершенно сложившимся человеком с огромным запасом знаний. Но первоначально по приезде в Петербург объем его сведений в области литературы был еще сравнительно невелик. Он не знал тогда таких капитальных произведений Гоголя, как «Ревизор» или «Мертвые души», хотя уже зачитывался его повестями (в начале 1847 года он «нахватался» Гоголя до того, что «получил похвальную привычку называть всех своих знакомых «батюшка мой»).

Он старательно переписывает в это же время на отдельных листочках стихотворения Лермонтова и посылает их двоюродной сестре. Возможно, что не без влияния Лободовского Чернышевский стал усиленно читать этих писателей, так как именно Гоголь и Лермонтов были кумирами Лободовского еще задолго до знакомства с Чернышевским. Оценкам, вкусам и суждениям Лободовского Чернышевский придавал огромное значение.

Он не только многократно подчеркивал прямую зависимость своих мнений от мнений старшего друга, но и открыто иллюстрировал ее как раз на примере своего отношения к Гоголю. «Когда я говорю с ним, то я признаюсь за себя и сознаю, что ниже его и главное то,

что я следую ему в мнениях, как, например, следую Гете. Например, он говорит, что «Мертвые души» выше «Ревизора» и драматических сцен, так что видно, как Гоголь растет с каждым годом, и я был убежден в этом и думал, что точно, это можно заметить. Вчера он сказал, что вот читал повести Гоголя и говорит: «Вот ведь так же хорошо, как «Мертвые души», почти никакой разницы нет, а между тем ведь до «Мертвых душ» не ставили еще Гоголя так высоко». Он сказал это, и я убедился и увидел, что в самом деле между повестями и «Мертвыми душами» нет разницы, — признаюсь, что я и раньше так почти думал, но когда он сказал противное, то и я подумал противное».

С пристального изучения Гоголя и Лермонтова начинается развитие и формирование критических способностей Чернышевского. Читая их, он учится выделять основную идею произведения, взвешивать соотношение частей с целым, анализировать характеры и поступки героев, разбирать каждую деталь, — то есть учится критическому мастерству.

Он читал любимых писателей с жаром и страстью, буквально боготворил их, называл «спасителями», за которых готов был «отдать жизнь и честь». Вот почему выступление Белинского против «Переписки с друзьями» было воспринято им, как посягательство на его святая святых.

Приближались переходные экзамены. Чернышевскому и хотелось попасть поскорее в родной Саратов, и уже жаль было разлучаться с товарищами, с книгами, покидать Петербург, с которым он успел свыкнуться. Настроение было такое, что хоть и не ехать... Однако он боялся оскорбить этим отца и мать.

После долгих раздумий он решил положиться на их волю и желание и только твердил им в письмах о больших расходах, связанных с возможностью свидеться лишь на короткое время. Родители все же настойчиво звали его на вакации в Саратов.

В конце апреля пошла Нева, был наведен мост, а через несколько дней начались экзамены, тянувшиеся целый месяц.

Экзамены прошли превосходно. Чернышевский получил полные баллы по всем предметам. Перед окончани-

ем экзаменов он стал собираться в дорогу. Хотел было сделать объявление в «Ведомостях Санкт-Петербургской полиции», что ищет попутчика от Москвы до Саратова, но решил, что не трудно будет найти его и в Москве.

Нанеся последние визиты землякам, проживавшим в Петербурге, Чернышевский под вечер седьмого июня выехал в дилижансе «четвертого заведения» в Москву.

Там прожил трое суток, поджидая денег из дому, подыскивая попутчика и выправляя подорожную. Попутчиком оказался чиновник, отправлявшийся по казенной надобности в своем экипаже. Путь их лежал через Рязань и Тамбов. В двадцатых числах июня Чернышевский прибыл в Саратов.

Глава тринадцатая

Второй год пребывания Чернышевского в университете во многом сходствовал с первым. Но были и перемены в его быту. По возвращении из Саратова он отделился от Раева. Тот, окончив юридический факультет, получил по протекции место младшего помощника столоначальника и начал медленное, трудное восхождение по ступеням чиновничьей лестницы. Пути их расходились.

Чернышевский нашел урок, стал зарабатывать. Он уже мог теперь мечтать, что будет содержать Сашу Пыпина, когда тот поступит в Петербургский университет.

Забот и дел прибавилось — урок, кропотливые занятия славянской филологией отнимали у него немало времени, но душевное состояние было гораздо спокойнее: он перестал думать о том, что обременяет родных. Денежные посылки из Саратова приходили теперь реже, и это радовало Чернышевского.

Убеждение его в том, что университет сам по себе не принесет ему большой пользы, окончательно укрепилось. Некоторые лекции он изредка посещал уже не ради самих лекций, а для того, чтобы профессора присмотрелись к нему и не придирались потом на экзамене. Зато целыми днями просиживал над книгами в Публичной библиотеке и в Румянцевском музее.

Новых знакомств почти не завязывалось. Попрежнему он встречался чаще всего с Михайловым и Лободовским. Это о них он писал родным: «Некоторые из моих приятелей подвизаются на литературном поприще, на

котором скоро, может быть, явлюсь и я (впрочем, это будет зависеть от обстоятельств)».

Первое упоминание о литературных проектах и планах носит еще очень неопределенный характер, но таит уже намек, что известную роль играл тут пример ближайших друзей.

Впрочем, дружба с Михайловым стала незаметно ослабевать, а затем вообще прервалась на время, потому что Михайлов, оставшийся без средств к существованию, в начале 1848 года уехал в Нижний служить писцом в Соляном управлении.

Расположение же к Лободовскому крепло с каждым днем. Несмотря на свою замкнутость и скрытность, молодой Чернышевский легко увлекался людьми. Этому очень способствовала склонность его находить хорошее в каждом человеке, та особая непроницаемость, которая свойственна бесхитростным натурам, тайная восторженность еще ни разу не обманувшейся души, юношеская жажда любви и дружбы.

В жизни юноши важен каждый час. Перед ним открываются новые миры. Он перерабатывает в себе разнородные влияния, выходя на путь самостоятельного мышления. Он особенно восприимчив, и неудивительно, что иногда какая-нибудь встреча с новым лицом может надолго предопределить дальнейшее направление его развития. Он не успел накопить знаний, жизненный опыт его невелик и еще не взвешен им самим. Но он инстинктивно тянется к тому, что совпадает в чем-то главном с его наклонностями и понятиями, а они в свою очередь изменяются, то отступая перед новыми, то снова вдруг возникая на иной основе и в ином качестве. Его пристрастия могут быстро меняться. Он не успевает свыкнуться со своими взглядами, как жизнь заставляет его пересматривать их, иногда отречься и снова искать и искать, пока он не приблизится к более или менее последовательному мировоззрению. В этих колебаниях, переломах, даже в переходах от одной крайности к другой есть своя закономерность, порою, правда, трудно уловимая и не сразу понятная.

Для Чернышевского годы университетского учения, когда изменились все условия его жизни, когда он очутился в обстановке, совершенно не похожей на прежнюю, были очень важным, может быть, решающим этапом.

Пожалуй, он меньше, чем кто-либо другой, способен был быстро подчиняться разнородным влияниям—в нем была большая внутренняя цельность и собранность, он умел избирать себе друзей и учителей; осознав цель, он обычно уверенно и упорно шел к ней.

Но прежде чем определились достаточно четко его интересы и взгляды, он тоже должен был пройти полосу юношеских исканий, увлечений окружающими, на которые сам позднее смотрел с улыбкой. Еще сравнительно краток был этот период его юности, потому что духовное развитие Чернышевского шло гигантскими шагами. Он быстро оставлял позади себя людей, на которых вчера только смотрел снизу вверх.

Легко понять, что значило для Чернышевского тесное сближение с Лободовским: тот был лет на пять старше его и уже многое успел познать в жизни. По житейскому своему опыту Чернышевский был тогда рядом с ним просто младенцем. Он не испытал и сотой доли того, что успел изведать до поступления в университет Лободовский.

Исключение из семинарии, скитания по России, несколько романтических историй, духовная академия, казенная служба и снова бродяжничество, пока наконец Лободовский не добрался до Петербурга и не устроился в университет...

Что мог противопоставить Чернышевский такому богатству событий? — Мирное житье в родительском доме, незаметный, но на деле неусыпный надзор и заботы о нем со стороны старших, причудливые рассказы бабушки о глубокой старине, запойное чтение духовных книг, кратковременное пребывание в семинарии, проезд в Петербург в сопровождении матушки и Устиньи Васильевны и, наконец, водворение в квартиру под опеку старшего родственника?

Как неуловимо и тонко с самого детства по сей день обволакивали его родные, предоставляя ему некоторую свободу и вместе с тем стараясь быть в курсе всех его дел, чтобы в любую минуту предупредить первый же неверный его шаг.

Вот и теперь — не успел он отделиться от Раева, не успел вкусить сладость полной самостоятельности, как Саратов уже принял свои меры, в результате которых

Николай Гаврилович незаметно должен очутиться в еще более надежном родственном плену.

Как раз в это время Любинька Котляревская вышла замуж за саратовского чиновника Терсинского. Все клонилось к тому, что молодожены переедут в Петербург и поселятся в одной квартире с Николаем Гавриловичем.

Правда, Терсинскому никогда бы не удалось получить перевод в столицу без помощи сильной руки. Но у Гавриила Ивановича Чернышевского имелись на этот случай влиятельные знакомства: земляк его и товарищ по пензенской семинарии Репинский, достигший вершины бюрократического Олимпа, и саратовец Колумбов—прокурор Гражданской палаты в Москве помогли переводу Терсинского в столицу.

Николай Гаврилович уже готовился к приезду родственников, задерживавшихся то из-за болезни Любиньки, то из-за распространения холеры, приближавшейся к Петербургу.

Наконец в мае он получил известие, что Терсинские выехали, но теперь ему было вовсе не до них.

Пришла «пора надежд и грусти нежной». Чернышевский влюбился...

Он до того был захвачен первым чувством, что не мог больше ни о чем думать. Характер увлечения, все перипетии этой сердечной истории своеобразны и необычны. Косвенным виновником первой любви Чернышевского был Лободовский, с которым следует нам познакомиться несколько ближе.

Когда Лободовский рассказывал, как его изгнали из семинарии за дерзкие выходки на уроках, то Чернышевский невольно вспоминал о своем саратовском друге Левицком.

В семинарии Лободовский всегда и по всем предметам шел первым. Товарищи любили его за находчивость, за постоянную помощь в писании сочинений и в объяснении уроков. Наставникам он вечно надоедал возражениями, указаниями на противоречия; даже самому ректору из-за этого «сорванца-занозы» приходилось тщательно готовиться к лекциям.

Наконец одна выходка Лободовского переполнила чашу терпения семинарского начальства.

— Во-первых, — заявил он однажды невежественному

учителю отцу Варсонофию, — вы неправильно прочли текст, во-вторых, в тексте есть опечатка, которой вы не заметили, в-третьих, начало глагола совсем не то, как вы объясняете...

Отец Варсонофий не замедлил назвать оппонента дураком. Лободовский не успокоился.

— Если дураками называть тех, кто правильно понимает вещи, то как же величать тех, кто не понимает их и даже не в состоянии понимать?

На другой день последовала письменная резолюция владыки, которому было доложено о происшествии: «Лободовского исключить и немедленно удалить из заведения».

Чем больше узнавал Николай Гаврилович Лободовского, тем сильнее привязывался к нему. Все в нем притягивало Чернышевского и заставляло смотреть на него почти с благоговением.

Как интересно прошлое Лободовского, полное тревог и приключений... Как благородно стремление вчерашнего бурсака выйти в светское звание, чтобы посвятить себя служению плодотворной идее. Сколько препятствий встретил он и, однако, не убоился, не дрогнул, не внял предупреждениям своего отца, что «там, на пути светском», может быть, ждут его «только одни испытания и тернии...» Чего стоит длительное тысячеверстное путешествие его пешком до столицы — ночевки в лесу, столкновения со станowymi, необычные встречи, опасности, происшествия...

Он видел в лицо жизнь бедных и жизнь богачей... Судьба то бросала его в помещичий дом репетитором, то в канцелярию писцом, то снова выводила на дорогу бездомных скитаний. Как увлекательно рассказывал он о своем заступничестве за крестьянку, у которой на его глазах уводили со двора корову за недоимки, как живо обрисовывал характер попугайчика-бродяги, оставшего солдата Родиона Кулика, с какою ненавистью говорил Лободовский о высокопоставленных господах, о жирных лабазниках, о крупных и мелких казнокрадах, сосущих крестьянскую кровь!

Лободовский был разносторонен, умен, начитан. Он знал философию, историю, литературу, языки, помнил наизусть много стихотворений Лермонтова, Пушкина.

Когда бывал в настроении, декламировал их или ~~исполнял~~ жал в лицах смешные сцены из Гоголя.

Особенно любил читать некрасовское «В дороме»:

Скучно! скучно! Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!..

Он и сам писал стихи, в которых слышался, ~~широкий~~ голос Кольцова:

Подымусь я с зарей,
Погляжу на себя:
Где краса ты моя,
Где пригожество?

У него были незаурядные литературные способности. Вскоре после своего прихода в Петербург он описал дорогие впечатления в очерках, которые безуспешно пытался напечатать. В пору дружбы с Чернышевским он работал над стихотворным переводом «Коринфской невесты» Гёте и мечтал перевести «Фауста».

Но удачи ему все как-то не было. И веселый прежде нрав его постепенно начал меняться.

Осознавая разрыв между своими способностями и своим положением, он стал проявлять нетерпение, требовательность к окружающим, легко раздражался. Ему наскучили уроки и спешные переводы ради грошевого заработка.

Он предпочитал бедствовать в бездействии, громко жалуюсь на судьбу. Неудачи, усталость от скитаний делали все более капризным его характер. Утратив уныние, он незаметно для себя привыкал сваливать все на обстоятельства, объяснять свои срывы стечением непреодолимых обстоятельств...

Все реже пробуждались теперь в нем порывы энтузиазма, все чаще овладевало им уныние. Он стал рисовать своим равнодушием к будущему, безразличием ко всему, разочарованием во всем. Стараясь скрыть свою внутреннюю бессилие, он легко переходил от самоуничижения к самоадеянности и даже надменности.

Уму нужен был друг, который верил бы в него, успокаивая этим уязвленную его гордость, привыкал бы сочувствием к его неосуществленным замыслам и планам. В университете он и нашел такого друга в лице Чернышевского. Последнему характер Лободовского раскрылся далеко не сразу.

Он долго был убежден, что Лободовский — великий

человек, в настоящем смысле этого слова, какая-то высшая натура с сильной и одновременно нежной душой. Только иногда, словно предчувствуя неизбежность разочарования в друге, Чернышевский как бы заранее оправдывал свое преувеличенно-восторженное отношение к нему: «Я всегда принимаю людей с первого раза слишком к душе и ставлю их слишком высоко, а потом приходится их сводить с пьедестала, на который сам возводил их».

Глава четырнадцатая

Чернышевский не замечал, что этот человек, не сумевший развернуть свой талант, искал лишь внешнего случая, на который можно было бы свалить все свои неудачи и промахи. (Есть люди, которым доставляет удовольствие считать себя обойденными судьбой. Они громко гласно сетуют на нее, а в глубине души утешают себя, поклоняясь своему непризнанному величию.)

И вот, наконец, такой внешний случай представился, — Лободовский познакомился с очень простой, милой девушкой, дочерью станционного смотрителя, и вскоре сделал ей предложение. Но, совершив этот шаг, он тотчас же стал предаваться сомнениям: сумеет ли он полюбить свою будущую жену?

Лободовский откровенно расценивал этот брак, как неравный для себя. Его невеста, Надежда Егоровна, представлялась ему ограниченной и неразвитой девушкой, перевоспитать и образовать которую едва ли удастся.

Но вместе с тем он считал себя обязанным жениться на ней. Пусть он не будет счастлив с нею, но он приложит все силы, чтобы сделать ее счастливой. Брак явится для него побуждением к деятельности, заставит его покончить с беспечностью, заставит думать о деньгах, о службе, об ученой степени. «Но я не буду, кажется, в состоянии любить ее и разделять ее чувство», — твердил он много раз Чернышевскому, которого сделал своим конфидентом с самого начала этой истории.

Вскоре состоялась свадьба. Чернышевский был шафером. Навсегда запечатлелась в памяти Чернышевского сцена благословения невесты, глубоко растрогавшая его. Он стоял у дверей комнаты, в которой сидела, окруженная подружками, белокурая невеста под вуалью, в подвенечном наряде.

Когда вошли ее родители, все встали.

Как только отец, приблизившись к ней, взял образ, чтобы благословить ее, она сразу резко переменилась в лице и заплакала. Плач этот перешел в судорожные рыдания, когда мать стала благословлять ее хлебом-солью. Безудержно рыдая и закрываясь платком, прошла она мимо Чернышевского к выходу; он не успел даже хорошенько рассмотреть ее.

Направились в церковь. Коляска, в которой помещался Чернышевский с отцом невесты, тронулась последней. На улицах повсюду еще видны были следы небывалой бури, пронесшейся над Петербургом за несколько дней до этого. Им попадались навстречу опрокинутые заборы, опустошенные и обезображенные сады. Они проезжали мимо обломанных и вывороченных с корнем деревьев, снесенных будок, столбов, крыш, сараев и разрушенных карнизов домов. Бурей был поврежден Елагин мост и разорван Воскресенский, у которого затонуло девять плашкоутов, она свалила сотни вековых деревьев в парках на островах, снесла две тысячи крыш, и столица казалась теперь притихшей и еще не опомнившейся.

Почти всю дорогу Чернышевский и будущий тесть Лободовского ехали молча. Только когда уже подъезжали к церкви, Чернышевский решился заговорить с ним.

— Я от души радуюсь за Василия Петровича, — сказал он, — от всей души радуюсь и верю, что он будет счастлив с Надеждой Егоровной.

В церкви она держалась спокойно и непринужденно. Свою свадьбу Лободовский описал много лет спустя в «Бытовых очерках», где изобразил Чернышевского под фамилией Крушедолин.

Крушедолин во время венчания «так был серьезно и безучастно ко всему, происходившему тут, сосредоточен в самом себе, что, наверное, подвергал строгому и всестороннему анализу только что прочитанные им последние сочинения, вышедшие в Англии».

Однако Лободовский ошибся. Крушедолин думал вовсе не об английских книгах.

Впервые увидев Надежду Егоровну, Чернышевский нашел ее совсем не такую, как ожидал по отзывам Лободовского. Она показалась Чернышевскому красавицей, исполненной благородства и внутренней грации. Разве такая девушка может быть ограниченной, — наоборот,

во всем ее поведении виден природный ум,—говорил он себе. «Когда венчали, я все смотрел на них обоих, и она мне казалась все лучше и лучше...

Проходя, она несколько раз смотрела на меня, и каждый взгляд этот необыкновенно радовал — или как это сказать? — меня — так чувствовал не в голове, а в сердце какую-то полноту, чрезвычайно приятную: мне казалось, хорошо, если я буду пользоваться расположением Надежды Егоровны».

Он вернулся домой с сердцем, полным тихой радостью, и образ Надежды Егоровны неотступно стоял перед его мысленным взором. Сначала, впрочем, он не мог даже определить, что это за чувство пробудилось в нем. Дружеское ли это чувство к Лободовскому и к Надежде Егоровне, или любовь к ней? Он стал размышлять, анализировать, взвешивать:

«Может быть, это льстит мне мое самолюбие, что молоденькая милая девушка будет расположена ко мне не так, как, например, любит сестра, ведь это будет не по привычке с ее стороны, а значит, будет то, что во мне действительно есть хорошее сердце, что я не эгоист, ничего не внушающий.

И, кроме того, может быть, я так дик, что для меня имеет особую прелесть необыкновенности быть хорошу, быть откровенну (быть любиму как брат) с молоденькою, милою, хорошенькою, может быть, если угодно, красавицею, я не знаю, может быть».

Когда юноша Чернышевский смотрел на себя со стороны, он называл себя росомахой, неповоротливым, диким, нерешительным, вялым. И в этом была большая доля правды, если говорить о чисто внешнем поведении. Где ему было набраться той светскости, которая позволяет держаться в любом обществе непринужденно и свободно?

Он так долго «воспитывался в пеленках», что теперь, освободившись от них, не умел ступить шагу без того, чтоб не проверять себя, не следить за собою, не оглядываться на каждый свой поступок.

Эта напряженность еще более усиливалась в присутствии женщины; впрочем, он почти и не бывал в их обществе. Между тем приближалось время, когда должна была возникнуть у него потребность любви.

Призрак ее, как всегда в таких случаях возникающий неопределенных очертаниях, уже не раз являлся ему, ошпаривал его, мучил «физическими бреднями». Этот рудный переход к зрелости омрачал его представления любви, отличавшиеся редкой чистотой.

Итак, хоть простое общение с нею, может быть, ра-обьет лед, которым скован его несчастный характер.

Он не смел и подумать, что равнодушие его друга к своей молодой жене дает ему какую-нибудь надежду в будущем, его мысли о ней были святы, свободны от тайных намерений, но он думал о ней беспрестанно и был счастлив от одного сознания, что чувствует в себе что-то, похожее на понимание сладости любить». Вот что наполняло радостью сердце Чернышевского. Ему довольно было тогда смотреть на нее, слушать ее голос, видеть ее улыбающуюся.

Он, как Лазарь, готов был питаться крохами со стола богача, ибо друг его представлялся ему настоящим Печориным, пресытившимся любовью и уже безучастным к ней.

Поделиться своими переживаниями Чернышевскому было решительно не с кем. Единственный человек, с которым он был вполне откровенен, не мог быть посвящен в эту тайну.

Через день после свадьбы он начал вести свой дневник стенографической скорописью, по системе, придуманной им самим еще в семинарии. Дневник открывается описанием свадьбы и переживаний, вызванных встречей с Надеждой Егоровной.

Чернышевский пытается определить и объяснить свое отношение к Лободовским.

Почему мысль о них господствует над всеми остальными «и сердце постоянно как-то сжато от ожидания»? С ним никогда не случалось ничего похожего. Это не каприз свободного воображения. Он же занят делами. Переходные экзамены в самом разгаре. Он читает записи лекций по древней истории. Появились первые, еще не ясные литературные замыслы. Кроме того, он готовится к большой работе у Срезневского. И, наконец, самое важное — он с трепетом следит за положением во Франции...

Еще с первых дней великого поста по городу поползли слухи о парижских происшествиях. Все спешили из дома в дом с вестями и догадками. Стоило на улице встретиться двум знакомым, как сразу начинался у них разговор о европейских событиях.

Все с нетерпением ждали прибытия газетной экспедиции, хотя в газетах всякий раз находили лишь одни недомолвки, намеки, противоречивые, неверные или скудные сведения.

С тех пор как телеграфическая депеша из Варшавы принесла весть об отречении Людовика-Филиппа, кофейни и кондитерские, где получались иностранные газеты, были битком набиты. «Газеты здесь пожирались, как устрицы, с алчностью невероятной». Иностранную хронике прочитывали иногда вслух.

На лицах петербуржцев появилось выражение озабоченности. Все напряженно ожидали событий. Из уст в уста передавали фразу, сказанную Николаем I на балу у наследника: «Седлайте коней, господа, во Франции революция...»

Среди студентов шли толки и споры о волнениях в Париже. Третье отделение предписало агентам следить за молодыми людьми, которые, как указывалось в доносах, группами читали иностранные газеты в кондитерских.

Встретившись как-то с Раевым, Чернышевский узнал у него, что можно будет получать для прочтения «Journal des Débats».

И вот неустанно следит он, хоть и с некоторым опозданием, за развитием парижской драмы. Это чтение как бы вошло в расписание занятий Чернышевского наряду с работой над летописью Нестора, над записью лекций Срезневского, хождением на урок...

Но, что бы ни делал тогда Чернышевский и чем бы он ни был занят, мысли его, как признавался он самому себе (признавался без преувеличений и даже с какой-то тревогой), постоянно возвращались к Лободовским. Его волновало все: как сложатся их отношения, будет ли правильно понят мужем характер Надежды Егоровны, на какие деньги они будут существовать, сумеет ли достаточно зарабатывать Василий Петрович?

Чернышевский вникал в каждую мелочь из жизни, сразу же принявшей дурной оборот. Он горевал, слушая жалобы Лободовского на непристойное поведение тещи, затевавшего ссоры из-за кофейника, из-за салона, из-за чего угодно. Он мучился при мысли, что такой выдающийся человек, как Василий Петрович, должен страдать от окружающей пошлости обыденщины, от драг и пересудов. Родители Надежды Егоровны подозревают, что зять их таскается по трактирам, следят за ним, открыто порицают за дружбу с мальчишкой Чернышевским... После родственных визитов у Лободовских пропадают белье, посуда, исчезают чай и сахар... Хватит, нет другого. А между тем ведь они на краю нищеты. Чернышевский и прежде, видя нужду своего друга, иногда выручал его. Теперь же он решил ограничить себя самым жестким минимумом расходов, а все остающиеся деньги отдавать Василию Петровичу. Он готов был как угодно бедствовать, лишь бы хоть немного облегчить положение Лободовских.

Но при первой же попытке осуществить свое намерение Чернышевский натолкнулся на серьезное затруднение. Ведь стоило бы Терсинским, поселившимся по проезду в Петербург вместе с Николаем Гавриловичем, заметить, что он без денег, хотя и получает их из дому как они немедленно отписали бы об этом в Саратов.

И вот, получив письмо от отца и повестку на двадцать пять рублей серебром, он задумался. В письме, между прочим, обращение к Терсинским, а в конце — пять строк о деньгах. Что делать? Сначала он намеревался показать письмо и деньги и сказать: «Если желаете, отдам деньги, но мне хотелось бы купить Гете, который продается очень дешево, за пятнадцать рублей серебром» (книги же взять у Василия Петровича). А потом передумал — не лучше ли утаить письмо? Но нет, ведь Любинька забеспокоится, что не пишут из Саратова... Подделать его! И он уже наложил на письмо чистую бумагу, чтоб копировать, да спохватился, что заметят необыкновенность почерка, и решил просто зачеркнуть пять строк, в которых говорится о деньгах. А спросят — сказать, что зачеркнуто папенькой, как это часто у него бывает: «Верно писал, чтоб я в чем-нибудь переменялся, не подавал повода к огорчениям и был благоразумнее, а после передумал и вычеркнул...»

Так он и сделал, хотя совесть говорила, что не след обманывать сестру и скрывать деньги... Но как же быть? «Человек так устроен, что ему ничего нельзя сказать серьезного, а не пошлого: тотчас, во-первых, поймет не так, во-вторых, выведет бог знает какие следствия, в-третьих, сделает бог знает какие предположения, в-четвертых, разболтает; а домой, подумал, не написать ли о Василии Петровиче и дружбе моей с ним, только не о финансовых делах, и не входить в большие подробности о нем, потому что, известное дело, не так поймут и не так станут смотреть».

Впрочем, домой он ничего о своей дружбе не написал, но зато всякий-раз, как получались из дому деньги, с бьющимся сердцем спешил к Лободовским. Выждав та^к удобный момент, шепнет другу, что получены деньги, — тот выйдет проводить его.

Иногда Лободовский принимал деньги молча, как должное, иногда, прежде чем взять, коротко спрашивал:

— А вы как?

— Да разве я не рассчитываю, — ответит Чернышевский. — Напротив, очень хорошо рассчитываю...

Расчет же был такой: если, скажем, получал Чернышевский двадцать рублей, то семнадцать он отдавал Василию Петровичу, а три оставлял себе на самое необходимое.

Бывало и так, что, взявши деньги, Лободовский начинал корить себя за бездействие, жаловаться на смертную тоску, мешающую ему чем-нибудь заняться.

В конце концов разговор сводился к тому, что если б не женитьба, то и не было б этого жалкого прозябания в безвестности, в нищете. Напрасно убеждал его Чернышевский, что Надежда Егоровна — существо редкое по своим душевным качествам.

— Я жалею ее, — отвечал Лободовский, — но совершенно равнодушен к ней... Глупо я сделал, что женился. Ошибся во всех расчетах. То ли дело — свобода, теперь бы я ушел куда-нибудь, а тут такое однообразие, такая монотонность! Не создан я для семейной жизни; никогда не было у меня времени счастливее того, когда я путешествовал... Вот будущим летом уйду отсюда; скажу, что в Ригу на две недели, а сяду на петергофский пароход, оттуда пешком на Варшаву... Эх, палками бы меня

по пяткам за то, что женился!.. Чорт знает, какую глупость сделал...

Эти излишества лишали Чернышевского душевного равновесия. Он тосковал, сознавая, что не в силах тут что-либо исправить.

Ему казалось, что материальный достаток изменил бы отношение Лободовского к жене. Целые вечера проводил он в размышлениях, где бы достать денег, чтобы Лободовские зажили наконец безбедно. Да что деньги! — «жизнь, кажется, отдал бы для его счастья (не знаю, может быть, отдал бы, — если б знал, что не будут тосковать папенька и маменька, конечно, отдал бы тотчас и за счастье не всей его жизни, а хоть на год!)».

Денег же, какие он мог отдавать и отдавал Лободовскому, лишая себя необходимого, все равно не хватало там даже на стол, тем более, что сам Василий Петрович только разглагольствовал и строил проекты. В этой области размах его был очень широк — начиная с замысла писать труды по русской истории (да не по Карамзину, а по актам, по источникам) и кончая проектом ограбления и убийства какого-нибудь богача.

И хотя последний «проект» был, конечно, только фразой, бросаемой в состоянии крайнего раздражения и отчаяния, все же время от времени он пугал этими фразами терявшуюся Надежду Егоровну и смущал своего юного друга. Трудно сказать, что сильнее разжигало в Чернышевском желание счастья Лободовским — невысказанное ли чувство любви к Надежде Егоровне, или горячее чувство дружбы к Василию Петровичу, но он постоянно мучился то за него, то за нее, то за обоих вместе.

Иногда им овладевало такое беспокойство, что он срывался с места и бежал к их дому, чтобы только взглянуть в окно, убедиться, что у них все попрежнему. Но в первый раз, когда он, отсчитывая шаги, уже спешил по Загородному проспекту, поднялся вдруг сильный ветер, нагнавший тучи, пошел дождь, и пришлось вернуться обратно.

Через несколько дней вечером он незаметно для себя очутился во дворе около ветхого темнозеленого флигеля, где снимали комнату Лободовские. «Когда подходил, сердце билось довольно сильно; прошел мимо окна, они пили чай; окно у чайного стола, как обыкновенно,

было завешено, и нельзя было хорошо видеть их: он сидел перед столом, Надежда Егоровна в углу под образами. Когда прошел и увидел их хоть мельком, сердце стало снова спокойно».

Странны были роли друзей. Влюбленный Чернышевский тщетно силился возвысить Надежду Егоровну в глазах ее мужа, а тот упорно низводил ее с пьедестала.

— Она слишком обыкновенна, слишком проста, — твердил он.

Малейшее просветление в отношениях между Лободовскими оживляло Чернышевского. Однажды ему показалось, что все обернется, может быть, по-хорошему, он ушел от них в радостном настроении и по дороге пел любимую свою песню Маргариты из «Фауста»: «Meine Ruh'ist hin». Он всегда пел эту песню, когда находился в хорошем расположении духа.

Часто, возвращаясь по Невскому домой из университета, он останавливался у витрин магазина гравюр и литографий Дациаро или Юнкера. Это называлось у него «пойти по Невскому для картинок».

Здесь в витринах время от времени менялись заманчивые изображения красавиц. Он внимательно и долго рассматривал их, беспристрастно сравнивая с Надеждой Егоровной, и всякий раз убеждался, что все они решительно уступают ей в красоте.

На улицах он постоянно ловил себя на том, что слышит встречных женщин с Надеждой Егоровной. Когда он думал о ней, бывая на людях, сердце его становилось беспокойно, и, чтобы скрыть это, он смеялся каким-то прерывистым нервным смехом.

Как-то в начале августа Чернышевский заглянул к своему земляку Писареву, который хорошо знал Лободовских и догадывался о том, что Чернышевский влюблен в Надежду Егоровну. Там сидел Раев. За чаем он спросил, глядя на женский портрет, висевший над столом:

— Это что за картинка? Ваша или хозяйская?

Писарев, покосившись на Чернышевского, сказал:

— Посмотрите, есть сходство с Лободовскою?

«Я, когда это имя услышал, как-то вздрогнул сердцем, как это всегда бывает, когда услышу, что заговорят о том, что задевает за живое, — впрочем таких предметов весьма мало, — но сердце вздрогнуло. Я поглядел — точно, есть, что я мельком заметил и раньше, когда по-

смастривал, так, мимоходом. Странно, что я всегда вздрагиваю, когда что-нибудь подобное относительно ее, например, когда раз, показалось, что навстречу мне идет она... Я думаю, подобным образом вздрогнул бы я... при начале знакомства с Гоголем...»

Через несколько дней он опять сидел за чаем у Писарева. На этот раз вместо Раева был здесь Лободовский.

«Василий Петрович взглянул на портрет, когда мы сидели за чаем, и сказал:

— Это что за моська?

Иван Васильевич отвечал:

— Вглядитесь хорошенько, может быть, и увидите.

Тот стал смотреть. Иван Васильевич через несколько секунд сказал:

— Есть сходство с вашей половиной?

Василий Петрович снова прибавил «моська», хотя, может быть, был сконфужен, что раньше так выразился, и сказал, что сходства нет.

— Нет, есть.

— Где же?

— В овале лица.

— Да это всегда у всех одинаково.

Наступило неловкое молчание. Спустя некоторое время Писарева позвала зачем-то квартирохозяйка. Когда он вышел, Василий Петрович сказал:

— Кто же это в самом деле?

Я взлез на стул—издание русское, Поля Пти (P. Petit). Я догадался или вздумал, что есть сходство с женою наследника, и вспомнил, что Василий Петрович сам хвалил ее за то, что выражение лица у нее весьма мило, так что нельзя не любить ее, и сказал в намерении выгодно подействовать на него:

— Это портрет жены наследника, только, может быть, не слишком похож.

Он сказал, что «может быть, и вероятно».

Глава шестнадцатая

Встречи друзей были так часты, что иногда они видались по нескольку раз в течение дня. Они научились понимать друг друга с полуслова и всегда чувствовали потребность делиться мыслями о людях, о книгах, о личной жизни. Но, подобно тому, как родные

жены Лободовского неприязненно относились к Чернышевскому, так сожители последнего, Терсинские, не очень-то дружелюбно встречали Василия Петровича. Это раздражало обоих, и если в разговоре случалось им касаться обывателей, копящих небеса и мешающих жить другим, то примеры брались обычно каждым из его родственной сферы.

Совместная жизнь с Терсинскими угнетала Чернышевского. Он чувствовал себя стесненным, чужим в их обществе.

Еще осенью 1847 года, когда он был в Саратове на каникулах, он уловил оттенок какой-то сладкой пошлости в отношениях молодоженов. Они ласкались, любезничали, ворковали, не обращая внимания на окружающих.

Теперь их показные нежности и восторги еще более раздражали Чернышевского. В памяти его всплывала картина из второй главы «Мертвых душ»: «И весьма часто, сидя на диване, вдруг, совершенно неизвестно из каких причин, один, оставивши свою трубку, а другая работу, если только она держалась на ту пору в руках, они напечатлевали друг другу такой томный и длинный поцелуй, что в продолжение его можно было бы легко выкурить соломенную сигарку».

«Маниловы, — решил Чернышевский. — Настоящие Маниловы, с их праздным и пустым воображением».

Самодовольный сенатский чиновник из вчерашних семинаристов, недавно окончивший духовную академию, был ханжою и отъявленным рутинером. Часы домашнего досуга он проводил если не в болтовне с женой о вздоре, то в рассматривании журнальных картинок или в чтении «слова божия». Он любил поучать, читать наставления с цитатами из ветхого и нового завета. Слово «субординация» было для него священным словом, он молился на чины и отличия. Заветной мечтой его было сколотить копейку на черный день; свой покой и карьеру он ставил выше всего на свете. Для него не существовало иных мнений, кроме тех, что он усвоил на школьной скамье и по службе. В любом споре этот ограниченный педант считал себя неукоснительно правым. И к тому же Терсинский был безобразно скуп и расчетлив. «Всех не накормишь», — вздыхая, говорил он по уходе несолоно хлебавших гостей.

Любинька, быстро подпавшая под влияние мужа, была подстать ему. Невозвратно далеко ушло то время, когда с замиранием сердца слушал Чернышевский, как читала ему старшая сестра увлекательные повести и рассказы.

Манеры Любиньки теперь выводили его из себя. Что-то отталкивающее, фальшивое, нерадушное слышалось ему в каждой ноте ее высокого голоса, когда она говорила кому-нибудь: «Пожалуйста, милости просим...» Сэмовлюбленность ее и прежде корбила Чернышевского. После замужества навязчиво капризный характер Любиньки стал день ото дня еще более портиться от усилившейся болезни ног.

Упорно и ревностно проводимая экономия на свечах бесила Чернышевского. Если с наступлением темноты он хотел зажечь свечу, его осторожно и вежливо останавливали: «Что это, ты никак уже хочешь зажигать?» По их понятиям, непременно следовало по крайней мере минут двадцать посидеть без огня до наступления крошечной тьмы.

Считалось также, что вечерами всем надо сидеть в общей комнате, чтобы обходиться одной свечой. И Чернышевский работал, писал и читал под их маниловские разговоры.

Как на грех он с самого начала не сумел определить отношения с Терсинскими, обособиться от них, поставить себя с ними должным образом. Он сразу во многом стеснил себя своей ненужной деликатностью, неумением дать отпор без явного вызова с противной стороны, и потом уже не решался разорвать эти узы, предпочитая размышлять о том, как бы незаметно выпутаться из них, хотя бы с помощью околичностей.

В быту этому великому характеру нужна была какая-то степень накала, чтобы действовать затем с холодной непреклонностью. А иначе он считал за лучшее отмалчиваться, таить про себя недовольство, уклоняться от объяснений с теми, кто не понимал его.

Много раз это скрытое раздражение против Терсинских, о котором они, может быть, и не подозревали, вот-вот готово было прорваться наружу; он жил тогда в напряженном ожидании вызова и схватки, но потом опять все как-то незаметно рассасывалось.

Ему казалось, что они игнорируют его, пренебрегают им. Повелительный тон, каким Терсинский однажды ска-

зал ему: «Принесите свечу!», взволновал его и едва не толкнул на резкое объяснение. Но он молча выполнял приказание, не успев собраться с духом, чтоб отчитать Терсинского за неделекатность.

Внутренняя пустота Терсинских, отсутствие у них идейных интересов, мелочность их суждений, пересуды и сплетни, снисходительность к себе и строгость к другим, постоянные прения о пустяках, сменяющиеся нежностями, вообще все Wesen und Treiben этой четы вызвали у Чернышевского отвращение. Но сначала он даже стыдился сознаться себе в этом, потому что еще в молоком матери ему передалось чувство уважения к пошлостям о родстве. Временами ему было больно за сестру, и он жалел ее, когда видел, что она смутно сознает все-таки, что находится в полном подчинении у мужа.

Тесное и долгое соприкосновение с этим душным мирком оттачивало его ненависть к беспробудному обязательскому эгоизму.

Оно раскрыло ему глаза не только на личную ограниченность Терсинских, но и на те устои и условия, которые порождали ее и в свою очередь питались и усиливались жизнью несметного числа Терсинских. Оно пробудило в нем возмущение авторитетами, которым здесь поклонялись, лживой моралью, за которой крылось поругание человеческого достоинства, оно впервые подвело его к теме, которую он потом, через полтора десятка лет, находясь в заключении, воплотил в романе «Что делать?»

Эта тема рождалась тут, на глазах у Терсинских, в разговорах с ними, в спорах с Иваном Григорьевичем, когда Чернышевский горячо доказывал свойственнику, что женщина в современных условиях является жертвой семейного деспотизма, рабыней мужа, отторгнутой от общественной жизни.

— Пустяки, — заметил ему тогда Терсинский, — она стоит наравне с мужем.

После разговора Чернышевский записал в дневнике: «Он не понимает этого угнетения, которое нельзя показать пальцем перед судом, но которое ясно в каждом слове и движении сочетанных браком...»

Эти строки прямо перекликаются с гневными тирадами автора «Что делать?» по поводу мечтаний Сторешникова о том, как он будет «обладать» Верочкою: «О

грязь! О грязь! — «обладать» — кто смеет обладать человеком? Обладают халатом, туфлями. — Пустяки: почти каждый из нас, мужчин, обладает кем-либо из нас, наши сестры; опять пустяки: какие вы нам сестры? — вы наши лакейки!..»

Он видел, что ложь до такой степени проникла во всю их жизнь, так слилась даже с лучшими их инстинктами, что они уже не могли освободиться от нее.

Насколько еще детски-наивны были тогда поступки и переживания Чернышевского, связанные с его благоговейной любовью к простоватой Надежде Егоровне, настолько, наоборот, глубоки и серьезные были его мысли о любви, вызванные наблюдениями над семейным укладом Терсинских. «Эти люди в сущности никого не любят, кроме нескольких, к которым бог знает почему привяжутся — потому, что это брат и сестра — да еще непонятная любовь, которая заставляет одну предполагать в женихе, а другого в невесте половину своей души. Однако он мне кажется довольно порядочным эгоистом и любит ее менее, чем она его, хотя, может быть, ее любовь и истекает от безделья и оттого, что он надел на нее чепец и вывел из-под власти маменьки и тетеньки... Нет, это не истинная любовь в моем смысле».

Тут мы находимся у самого, можно сказать, истока идей, которые позднее с захватывающей силой если не искусства, то убеждения были развиты в романе, ставшем настольною книгой нескольких революционных поколений.

Не только в «женском» вопросе расходился со своим сожителем Чернышевский, между ними все порождало споры. Хотя он и остерегался затевать их, считая это бесполезною тратою времени, однако порою все-таки не выдерживал и пускался в прения с Иваном Григорьевичем, который в его глазах осквернял все, что есть возвышенного в жизни.

На каждое явление они смотрели по-разному. Шла ли речь о семье, о государстве, о французских событиях, о Байроне, Гоголе и Лермонтове или, наконец, о роли чиновничьей касты в России, всегда точки зрения их резко расходились.

Новые начала, проповедывавшиеся в Западной Европе, знакомство Чернышевского с которыми каждодневно углублялось благодаря усиленному чтению иностранных

книг, журналов и газет, вызывали у него горячее сочувствие. Наоборот, порядки крепостнической России казались ему диким пережитком. Терсинский же, как истый бюрократ, не выносил никаких рассуждений, задевавших основы строя, верным слугой которого он считал себя.

— Я не люблю, — сказал он как-то за ужином Чернышевскому, — когда при мне непочтительно говорят о высших правительственных лицах. От этого разрушается издревле установленный государственный порядок и дело доходит до того, что творится теперь во Франции.

— По-вашему, хоть палка, да начальник... Начальники слишком много на себя берут, позабыв, что не правда существует для государства, а оно для правды. Во Франции и теперь лучше, чем у нас.

— Да, в материальном смысле, а в нравственном что?

— И в этом лучше, чем у нас, и семейные отношения лучше, а что мы думаем, что у нас лучше — это от самолюбия, которое говорит: лучше нас, то есть меня. нет и на свете никого, и еще оттого, что мы выросли в этих понятиях и думаем, что иначе и быть не должно.

И, оборвав разговор, Чернышевский принялся раскладывать по алфавиту карточки со словами, выписанными из летописи Нестора.

На следующий день, совершенно незаметно для обоих, этот спор возобновился, как только Иван Григорьевич недоброжелательно заговорил об одном из саратовских чиновников.

— Он ничем не хуже других, — отозвался Чернышевский. — Большая часть занимающих места не имеют ни особых дарований, ни познаний, делающих их достойными занимать эти места. Большинство чиновников и правителей легко можно заменить: *durch den ersten besten* — кто сел, тот и умеет сидеть, у нас не человек по уму достоин занимать место, а получил место, так оно и дает тебе ум или репутацию на ум.

Этим он вывел из терпения Ивана Григорьевича, и тот раздраженно сказал:

— Однако этот спор ни к чему не поведет..

Через неделю противники снова схватились, заговорив о великих писателях.

— Коли Байрон пьяница, — сказал Терсинский, — так не судяй, как и всякий пьяница; всякий великий писатель — фигляр, между тем как правитель не то.

(«Правитель» был той печкой, от которой Терсинский всегда начинал танцовать.)

— Нет, это те, — горячо возразил Чернышевский, — о которых говорится — вы есте соль земли, это рука, двигающая рычагом... Если есть в них слабости, то не от тех причин, от которых обыкновенно бывают у нас: Байрон пил не потому, почему пьет другой человек.

— Вздор, — заявил Терсинский, — все одно, издали они кажутся велики, вблизи все равно, что мы. Вы помните басню о Вольтере в аду?

Смотри на злые все дела
И на несчастья, которых ты виною!
Вот дети, стыд своих семей, —
Отчаянье отцов и матерей.
Кем ум в сердце в них отравлен? Тобою!
Кто, осмеяв, как детские мечты,
Супружество, начальство, власти,
Им причитал в вину людские все напасти
И связи общества рвался расторгнуть? Ты!
Не ты ли величал безварье просвещеньем?
Не ты ль в приманчивый, прелестный вид облек
И страсти и порок?
И вон, опоена твоим ученьем,
Там целая страна
Полна
Убийствами и грабежами,
Раздорами и мятежами
И до погибели доведена тобой!

Вот вам и благодетельное влияние великого писателя на Францию!

— Басня эта к делу неприложима, — заметил Чернышевский. — Мне чрезвычайно досадно видеть, что мы смеем судить о них, мы, которые ничто перед ними, это Западная Европа.

— Они глупцы, потому что делают ошибки.

— Да, мы не падаем, потому что не ходим, хоть, например, в области богословия; Канту в аду места не будет, а мы православные, и поэтому бог должен спасти нас, как должен был давать победу евреям, потому что у них был кивот завета. Что мы сделали?

— В области науки ничего, — согласился Терсинский, — потому что вообще еще должно раньше воспитать народ в нравственности.

— Хорошо мы воспитывали его в продолжение девяти-сот лет! Это уже показывает, что мы ничего не сделали, совершенно не жили, что мы не младенцы, а заро-

дыши, и мы сравниваем себя с ними и прилагаем себя к ним и переносим их понятия и события на себя!

Терсинскому, конечно, и в голову не приходило, что уже в этом споре Чернышевский показывал свое знакомство с таким опасным источником, как сочинения Сен-Симона. Оно сказалось и в определении «возраста» народов, несомненно, почерпнутом у Сен-Симона, и в подчеркивании особой роли ученых и писателей, которым в утопиях Сен-Симона отводилось почетное место, как духовным вождям народа, как будущим создателям «кодекса интересов» и «кодекса чувств».

С Терсинским Чернышевский спорил еще весьма осторожно, не развивая перед ним своих заветных мыслей. Это объяснялось и разницей в годах (Иван Григорьевич был лет на одиннадцать старше его), и опасением остаться совершенно непонятым. Иное дело в среде университетских товарищей, — там он чувствовал себя гораздо проще, говорил свободно и с большим жаром о новых идеях, проникавших с Запада.

Смутные вначале стремления его к истине, добру и справедливости, теперь, по мере того, как он все более «утверждался в правилах социалистов», начинали постепенно обретать живые очертания, облекаться в кровь и в плоть, хотя с них еще не окончательно спала пелена религиозных предрассудков.

Он еще верит в Христа, преклоняется перед ним, но его религиозное чувство уже дало в это время заметную трещину.

Глава семнадцатая

Через несколько дней после спора с Иваном Григорьевичем Чернышевский сделал в дневнике первый «обзор своему положению за 2½ недели». Происходившая в нем душевная ломка была так интенсивна, что возникла необходимость подводить итоги за кратчайшие промежутки времени и намечать перспективы.

Правда, сначала обзоры касались не столько убеждений, сколько отношений с окружающими. И тут, разумеется, на первом плане стояли все те же Лободовские. Только позднее темы переменились местами.

В конце первого обзора есть беглые признания Чернышевского об его тогдашних взглядах на религию и политику. Он признавался, что в области религии держится

старого скорее по привычке и что оно (старое) как-то мало клеится с его другими понятиями.

Словно оправдываясь перед уходящими иллюзиями, он пишет: «Блеснула мысль: «без религии нет общества», — говорит Платон, и мы за ним, да ведь у него самого не было положительной религии, поэтому он под этим словом, конечно, разумел совокупность нравственных убеждений совести, естественную религию, а не положительную...»

Семейный и семинарский груз еще тянул Чернышевского назад, но уже не мог остановить поступательного движения мысли, перед которой открывались широчайшие горизонты.

Сила привычки еще удерживала его от окончательного расставания с тлеющей верой. Иногда он предумышленно уклонялся от холодного анализа потому, что чувствовал, что конец веры близок.

«Сердце отстаёт, — говорит Герцег, — потому что любит, и, когда ум приговаривает и казнит, — оно еще прощается». На целых два года растянулось это прощание, пока наконец «Сущность христианства» Фейербаха не помогла Чернышевскому раз и навсегда освободиться от религиозных представлений и покончить с верой. Однако победа далась ему не без усилий.

Рубежом окончательного перехода Чернышевского к материалистической философии был 1850-й год. Предшествовавшие два года были подготовкой к этому переходу, этапом, на котором складывались общественно-политические убеждения будущего революционного демократа и просветителя.

События европейской революции 1848 года оказали решающее влияние на формирование его взглядов. «Другие понятия», которые тогда так плохо клеились с его отживавшими религиозными представлениями, касались именно революционной борьбы на Западе и социалистических учений, всецело захвативших его.

От беглого чтения текущей иностранной прессы он переходит постепенно к изучению капитальных исторических работ и социалистической литературы, ища в них ответа.

И, по мере того, как крепнет его вера в социализм, тают его религиозные иллюзии, тает вера в бога и в бессмертие души.

Апостолами новой веры («мы дадим тебе рай на земле») в глазах Чернышевского явились тогда не только Пьер Леру и Луи Блан, но и Жорж Занд и Гейне.

Еще с конца восемнадцатого века взоры всей Европы были прикованы к Франции. Революционные взрывы, потрясавшие ее с 1789 года, так или иначе отзывались в каждой стране. Идеи французского просветительства восемнадцатого века пробудили и в русском обществе интерес к глубочайшим социальным проблемам, к жизни народа, к его духовным потребностям и насущным нуждам. Когда раскаты очистительной грозы, пронесшейся над феодальной Европой, достигли России, страх перед возможностью перенесения французской заразы свободымыслия на русскую почву, в глубине которой были «заложены семена истинной демократии», заставил Екатерину II жестоко расправиться с «первым подвизателем французской революции в России» — Радищевым. Эта борьба, начатая Екатериной, продолжалась и после нее многие десятилетия. Об открытом выражении сочувствия французским революционным идеям в самодержавной России, разумеется, не могло быть и речи. Однако влияние их, перенесенное на самый дух произведений передовых русских писателей, рождало органическую связь с традициями революционной Франции.

Эта связь и общность мотивов улавливается, правда, не сразу, а лишь путем внимательного анализа, подчас даже расшифровки внутреннего смысла произведений.

В сороковых годах повышенный интерес к родине Вольтера и Руссо в русском обществе дал почувствовать себя с новой силой, как только во Франции стали проявляться признаки нарастания революционного кризиса, разрешившегося в феврале 1848 года, когда «пролетариат сразу выступил на первый план как самостоятельный фактор, но в то же время вызвал на борьбу против себя всю буржуазную Францию» (К. Маркс).

На Францию смотрели тогда, как на гигантскую лабораторию, в которой совершались опыты над разрешением основных социальных вопросов, волновавших умы современников. «De la propriété» Прудона, «Путешествие в Икарию» Кабэ, система Фурье — все это служило предметом изучения, горячих толков, вопросов и чаяний всякого рода.

Революция 1848 года была своеобразной школой не только для Герцена и Белинского, но и для следующего поколения, к которому принадлежал Чернышевский. Значение этой даты, вернее идей и событий, связанных с нею, в истории развития мировоззрения предшественников русской социал-демократии было огромно. В этой дате как бы пересекались линии их судеб, несмотря на все различие их положений.

Белинский тогда стоял у края могилы, заканчивалась последняя фаза его бурного и внешне противоречивого пути. После обращения от умозрительной философии к действительности, к современности, социализм стал религией его жизни. «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мною с атеизма», — вспоминал о своем знакомстве с ним Достоевский, которого Белинский-то и посвятил «во всю правду этого грядущего обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества».

Изучение прошлого и внимательный анализ современного положения Франции заставили Белинского полюбить человечество по-маратовски. Он понял французскую революцию 1789 года и ее «римскую помпу», казавшуюся ему прежде смешной. Социальный роман и поэзия Франции, ярко изобразившие страдания масс в настоящем и одухотворенные надеждами на будущее, стали в центре внимания критика.

Он не увидел развязки февральской революции 1848 года, скончавшись через три месяца после того, как она началась. В своих последних статьях и письмах он приближался к истинному пониманию роли и судьбы классов в историческом процессе. И несомненно, финал революции еще более уяснил бы ему сущность этого процесса...

Герцен в 1847 году покинул Россию. Вспоминая через много лет о своем приезде во Францию, он писал: «В Париже... едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове Москва. Об этой минуте я мечтал с детства». (Ведь в детстве учителем Герцена был citoyen Bouchot, бывший якобинец и участник взятия Бастилии.)

Герцен слишком многого ждал от Франции, где назревала тогда новая революция. Но чем сильнее надежда, тем страшней ее крушение.

С первых же дней приезда его подстерегало разочарование. Париж вставал всегда в воображении Герцена в дыму легенд о «великих делах, великих массах и великих людях». Но вместо легендарного Парижа народных восстаний его ожидал Париж торжествующих капиталистов, мещан, лавочников и шпионов. Он въехал в Париж со священным трепетом, чтобы через полгода оставить его и в мрачном отчаянии удалиться в Италию.

Стоило ему услышать первые вести о парижском восстании, как он снова с восторгом устремился во Францию. Но Франция была «назначена всякий раз излечивать» Герцена «от надежд и заблуждений».

Последовавшее поражение революции нанесло ему еще более глубокие раны. Увлекавшие его иллюзии утопического социализма были окончательно растоптаны. Его охватило отчаяние. Он пережил моральную катастрофу, увеченную им самим в «Письмах из Франции и Италии».

Усилия, затраченные одним поколением, не могут не сократить блужданий следующего в поисках истины. Гёте говорит, что «каждый, родившийся всего на десять лет раньше или позже, сделался бы, можно сказать, совершенно другим человеком по своему развитию и влиянию на окружающих».

Ничто, однажды завоеванное в области духовной жизни, не пропадает даром. Десятилетие напряженной борьбы, колебаний, разрывов и отречений, пройденное поколением, к которому примыкали Герцен и Белинский, значительно ускорило самый процесс становления их преемников.

Когда Белинский угасал физически, а Герцен находился накануне своего духовного кризиса, явившегося формой перехода его миросозерцания на следующую, более высокую ступень, студент Чернышевский, едва вступивший в самостоятельную жизнь, только начал освобождаться от религиозных убеждений и с жадностью прозелита ловил каждое слово о революции и социализме.

Еще в конце 1847 года первые проникшие в русскую печать известия о бурных выступлениях ораторов на парижских банкетах в пользу парламентской реформы заставили его насторожиться.

Было очевидно, что революция там уже не за горами.

И она действительно через два месяца разразилась. Все это было ново, заманчиво и волнующе. Вскро и в дневнике его появились первые имена ораторов и трибу нов борющихся партий.

Сперва, повидимому, не столько текущие революци онные события, сколько новые доктрины приковали к себе внимание Чернышевского. Потом, усвоив их в из вестной мере, он начинает следить и за расстановкою сил на исторической арене, всем сердцем желая победы восставшему народу. Анализируя французские события, он стремится в их свете определить свои убеждения, намечает свои цели и приходит к широким обобще ниям.

Время от времени он отмечает в дневнике, за какие числа ему удалось читать «Journal des Débats» и какое впечатление произвели на него те или иные речи. Не муд рено, что и Чернышевскому роли отдельных главных дей ствующих лиц развернувшегося движения были иногда не вполне ясны.

Много лет спустя, вспоминая об этой эпохе юноше ских надежд и стремлений, Салтыков-Щедрин, который был двумя годами старше Чернышевского, писал: «Гро мадность событий скрадывала фальшь отдельных под робностей и на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страной чудес».

Салтыков охарактеризовал свои настроения соро ковых годов, как «сонное мечтание», а не «сознатель ное служение идеалу». Он был тогда целиком в плену утопических и либеральных иллюзий, а у Чернышев ского уже и в эти годы безотчетный восторг сравни тельно быстро уступает место сознательной, критиче ской оценке происходящего.

Чернышевский, как и многие другие его современники и сверстники, с надеждою взирал на Запад. Но, в отли чие от многих, у Чернышевского, кроме поклонения но вым идеям и принципам, все время крепла, росла и разви валась еще и воля к революционному действию.

Ведь даже благонамеренный Никитенко думал, что на Западе настала пора исполнения вековых надежд и чая ний. Однако как быстро схлынули потом эти его на строения!

Ведь и Достоевский, будущий непримиримый идейный враг Чернышевского, в сороковые годы был преисполнен

ожидания от Франции не только «какого-то неслыханного нового слова, но даже чего-нибудь разрешающего и уже окончательно». А что с ним стало потом, когда надежды эти рассеялись?

Совсем иную картину мы видим у Чернышевского. Ни поражение европейской революции, потопленной в крови, ни жесточайшая отечественная реакция не смущали его, не заставили его дрогнуть, отступить или примириться.

Наоборот, чем глуше и темнее становилось вокруг, тем большей решимостью проникался он совершить подвиг для блага закрепощенного народа и не подорожить жизнью для торжества своих убеждений.

Уже в первом упомянутом обзоре своих понятий Чернышевский, касаясь политики, писал: «Уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети, наша история развивалась из других начал, у нас борьбы классов еще не было или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан особенно, после Леру, увлекает меня, противников их я считаю людьми ниже их во сто раз». Уважение к Западу и увлечение Бланом в Леру — в этом еще не было ничего исключительного. Кто не зачитывался тогда «Историей десятилетия» и не уважал Европу?

Тяга к Западу и интерес к французским социалистическим учениям были очень распространенным явлением в самых различных слоях интеллигенции. Никитенко в своем дневнике 1848 года, сравнивая крепостническую Россию с беспокойным Западом, окрестил ее Сандвичевыми островами, на которых всякое попользование мыслить обрекалось на гонение и гибель.

«Россия,—говорит Щедрин,—представляла собой область, как бы застланную туманом... В России все казалось поконченным, запакованным и за пятью печатями сданным на почту для выдачи адресату, которого заранее предположено не разыскивать; во Франции все как будто только что начиналось. И не только теперь, в эту минуту, а больше полувека сряду все начиналось, и опять, и опять начиналось, и не заявляло ни малейшего желания кончиться».

Щедрин очень хорошо передает настроение, господ-

ствовавшее среди интеллигентной молодежи конца сороковых годов. Лучшие из нее инстинктивно тянулись к Франции. «Разумеется, не к Франции Луи Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Кабэ, Фурье, Луи Блана и, в особенности, Жорж Занд». Тянулся к ней и Чернышевский.

Однако о борьбе классов, как о движущей силе истории, задумывались очень и очень немногие из двадцатилетних юношей. В понимании этого, как и в готовности к действию было огромное превосходство молодого Чернышевского над теми, кто не шел тогда дальше слепого поклонения утопиям и отвлеченных мечтаний о грядущем золотом веке.

Глава восемнадцатая

Когда дело идет о коренных убеждениях, освобождаться от коренных предрассудков, — все равно каких: исторических, политических или житейских, — всегда очень трудно. Какую-то особенную силу получают над нами однажды усвоенные мнения. Они делаются как бы частью нашего существа, поэтому даже само сомнение в них бывает важным шагом, хотя до настоящего пути отсюда еще очень далеко.

Чернышевский был богато одарен тем, что мы называем теперь чувством нового. Люди, лишенные его, обычно быстро теряют способность к развитию. Питаясь затверженными истинами, слепо следуя авторитетам, они отвергают все, что звучит непривычно для их слуха и не укладывается в рамки очерченного кругозора.

Чувство нового не позволяло Чернышевскому довольствоваться только достигнутым, — оно постоянно вело его вперед и вперед...

Оно помогало ему, особенно в юности, одолевать преграды, находить верное решение, даже если он и не вполне был подготовлен к нему.

На примере восприятия Чернышевским европейских событий 1848 года можно видеть, что значило для него это чувство. Давно ли он покинул отчий дом, где мирно и тихо протекали его детские и отроческие годы? Отец поразился бы теперь его умонастроению...

Он не устает спорить о западных делах с Терсинским, которого начал уже в глаза называть отсталым, он шу-

мит в университете, защищая социалистов, Францию, ее вечные волнения... Читая наедине у себя в комнате речи левых, напечатанные в «Débats», он приходит в состояние какого-то экстаза и, незаметно для себя, начинает повторять их вслух... И в аудитории после лекций он твердит студентам отрывки из этих речей.

С первых же дней, как Чернышевский узнал, что Париж стал огромным полем сражения, симпатии его были всецело на стороне тех, кто поднялся на защиту своих прав с оружием в руках.

Правда, он не мог сразу же отделить подлинных революционеров от лжереволюционных фразеров вроде Ламартина. Но для этого надо было быть в курсе всех событий, а он ведь пользовался сначала лишь отрывочными тенденциозными сведениями и только-только общался к политике.

В реакционной отечественной прессе одинаково злобно писали обо всех «новейших учениях», обо всех деятелях республиканской Франции. Ламартин и Луи Блан, Ледрю Роллен и Распайль—все они именовались врагами религии и порядка, все были мазаны одним миром. Уровень этой прессы был так низок, ее уловки в борьбе с западной «заразой» так примитивны и грубы, что по сравнению с ними даже позиция реакционной газеты «Journal des Débats» выглядела несколько более благопристойной.

Прочитав в «Débats» речь Пьера Леру об отмене рабства в африканских колониях и издевательские комментарии к ней, Чернышевский писал: «Это уяснило мне, что это за люди: они так же ограничены, как и мы, так же точно не могут понять ничего, что не вдолблено им, и все новое кажется им смешной нелепостью; но эти задолбленные понятия у них все-таки лучше и выше тех, которые задалбливают у нас».

Чтобы провести такую параллель, надо было родиться в крепостной России, вырасти в захолустном Саратове, учиться в семинарии, дышать ее тлетворной атмосферой, слушать в университете лекции Райковского... Надо было узнать «грубого баскака», попечителя графа Мусина-Пушкина, столкнуться с ним и почувствовать себя его врагом на всю жизнь. Надо было поселиться с Терсинскими и подмечать, как жадно они кидаются всякий раз читать пустую «Иллюстрацию», равнодушно откладывая в сторону «Отечественные записки» и «Современник», в

котором билась живая мысль, несмотря ни на какие цензурные тиски и рогатки.

Российская официальная реакция была азиатски невежественна и тупа. Она льстила себя надеждой преградить путь «злоучению» социалистов «душеспасительными» проповедями и фельетонами Булгарина, десятки лет выступавшего поборником нравственности.

Но оберегатели умов часто достигали в своем усердии как раз обратного результата. Свой высочайший манифест 14 марта по поводу смут и безначалия в Европе, «грозящих ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства», Николай I закончил восклицанием: «С нами бог! разумеите, языцы, и покоряйтесь, яко с нами бог!» Архиепископ Иннокентий вторил царю: «Заграждайте, братья мои, слух от всего, что отзывается духом мудрствований иноземных. Нет, сыны Запада, не устрашить вам нас силою своею, не прельстить темным учением своим. Не знаем, кто с вами, а с нами Бог великий и премудрый... Разумеите, убо, языцы, и не возмущайтесь тщетно противу нас...»

«Слово» преосвященного было опубликовано в столичных газетах. Чернышевский прочел его и запомнил. Несколько месяцев спустя он записал в дневнике: «Иннокентий лжет, если говорит: «С нами Бог, а кто с вами — не знаю...»

А отец? Чернышевскому грустно было, что горячо им любимый отец, которого он уподоблял по благородству характера Олверти из «Тома Джонса», не разделял бы теперь его мнений о европейских делах.

Ведь и отец тоже именем бога учит униженных и притесненных подставлять под удар свои ланиты и стремится связать им руки каким-то нравственным долгом... В эти дни Гавриил Иванович писал сыну: «Пусть холера идет туда, где не жалеют жизни, режутся».

Но сыну хотелось все-таки объяснить заблуждение отца только его незнанием истинного смысла того, что происходит в Европе.

Ему хотелось думать, что, может быть, независимо от укоренившихся предрассудков, просто по самому существу своей натуры, хотя бы по склонности быть справедливым, отец осознал бы, как подло устроено общество: «Человек, чуждый партий и даже не знающий их, — что было бы, если бы по его мнению, конечно,

глубоко беспристрастному, устраивать дела? Мог ли бы он отказывать в *droit du travail*, над которым так безжалостно смеются и которое истинная причина переворотов (т. е. пауперизма)?..»

Но могло ли быть беспристрастным мнение отца?..

Глава девятнадцатая

На летние вакации 1848 года Чернышевский домой не поехал. Он должен был остаться в Петербурге. Его удерживали дружба, первое чувство, занятия филологией (он усердно готовил словарь летописи Нестора), урок... А главное—хотелось отсрочить свидание с родными, чтоб не объясняться, не ставить точек над *i*, не поднимать волновавших его вопросов о религии, о ненавистных крепостнических порядках России, о революциях на Западе, о *droit du travail*...

Когда он мысленно располагал по степени важности свои отношения с близкими людьми, то выходило так, что Лободовский словно оттеснил из его сознания отца и мать. Получая письма из Саратова, Чернышевский испытывал каждый раз какое-то неловкое чувство. Он упрекал себя за то, что проявляет к Лободовскому гораздо больше внимания и заботливости, чем к своим. «Надо более думать о них»,—говорил он себе, а между тем все думалось невольно о Лободовском.

Уж не чудачеством ли со стороны Чернышевского была вся эта история? Быть может, еще не зная, на кого и на что обратить свои чувства, он щедро расходовал их на дружбу с воображаемым Печориным и на тайное благоговение перед воображаемой Теклой...

Достоин ли был Лободовский самоотречения и преданности, проявленных Чернышевским? Трудно ответить на этот вопрос. Совсем различными путями пошли впоследствии друзья. Старший пылко и смело начал, но кончил свой век в чине статского советника, а младший, начинавший с виду робко и нерешительно, оказался впоследствии по неколебимой своей стойкости и силе духа гигантской исторической личностью.

Как бы то ни было, встреча с Лободовским многое внесла в жизнь Чернышевского и была внутренне очень важна для дальнейшей его судьбы. Время их сближения совпадает с лучшей порой Лободовского, за которой

последовало потом постепенное его умиротворение и отход от юношеского революционного романтизма. Он умер в глубокой старости в 1900 году в Омске, куда переехал в пятидесятых годах.

Там он преподавал русский язык и словесность в кадетском корпусе, поражая слушателей редким ораторским даром и талантом декламатора. Он увлекал своих учеников мастерским чтением Гоголя и Лермонтова. На всю жизнь осталась у него любовь к поэзии этих его избранников.

Но чем старше становился он, тем все больше замыкался в себе, не любил вспоминать о прошлом, был до странности необщителен, чрезмерно требователен к ученикам, и в городе о нем говорили, как о большом чудеке и оригинале...

Должно быть, далеко не прост был этот человек. В 1848 году, когда его дружба с Чернышевским достигла своего апогея, будущий статский советник мечтал быть не кем иным... как Пугачевым XIX века...

Как-то раз Чернышевский пошел проводить своего друга. Лободовский дорогою стал горячо говорить о том, что можно поднять у нас революцию и что он часто и много думает об этом.

«Элементы, — сказал Лободовский, — есть, ведь подымаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет, да еще разорить могут, а создать ничего не в состоянии, потому что ничего еще нет».

И потом, помолчав, Василий Петрович признался, что «мысль участвовать в восстании для предводительства у него уже давно».

Продолжая разговор, Лободовский вспомнил о Пугачеве.

— Пугачев — доказательство, но доказательство и того, что скоро бросят, ненадежны, — возразил ему Чернышевский.

— Нет, Николай Гаврилович, они разбивали линейные войска, более чем они многочисленные...

Шутка ли сказать — участвовать в восстании для предводительства! Поднять крестьянскую революцию в России 1848 года, возглавить ее, разбивать регулярные войска... да об этом не снилось тогда и самым решительным головам.

Лободовский уверял своего друга, что думает об этом всерьез, и тот верил. Но революционные настроения Лободовского были скорее всего только «слесовностью». Иначе, где бы ему дослужиться потом до статского советника! Однако слова падали на благодарнейшую почву.

Что ж удивительного в том, что Чернышевского не преодолимо тянуло к Василию Петровичу?

Он начинал тосковать, если не встречался с Лободовским день-другой. В душе росла досада на Терсинских, мешавших свободно разговаривать с Василием Петровичем.

Заметив, что Лободовский стал реже бывать у него, и приписав это нежеланию его сталкиваться с Иваном Григорьевичем, Чернышевский приготовился к решительному шагу. Его терпение было на исходе. Будь что будет—он напишет своим, что должен разъехаться с Терсинскими. Уже не раз заявлял он о своем намерении Лободовскому, но теперь поставил наконец вопрос ребром...

Они миновали казармы Семеновского полка и приближались к дому, где жили Лободовские.

— Если вы не будете ходить, — съезжаю с квартиры — не считаю нужным об этом распространяться, напишу домой и только.

— Хорошо, лучше буду ходить, но я могу повредить мнению о вас Терсинских и огорчить их тем, что вы меня больше любите, чем их.

Мнение их обо мне меня не интересует, как и я ими не интересуюсь, огорчиться они этим не могут, да едва ли в состоянии заметить, потому что едва ли предполагают; права судить себя я не признаю ни за кем, кроме папеньки и маменьки, да и то потому, что они серьезно могут огорчаться и радоваться мне... Единственное, что мне доставляет наслаждение, кроме книг, это свидания с вами.

— Но я отнимаю у вас много времени.

— Раньше я думал бы так, но теперь я знаю, что время, проведенное с вами, для меня, чтобы говорить без гипербола, в семь-восемь раз полезнее, чем за Нестером и тому подобным.

Чернышевский не сказал: «во много раз полезнее» или «гораздо полезнее». Нет, он и тут словно бы отсчитывал шаги: «в семь-восемь раз полезнее»... Это

звучит наивно, ибо точность в таких вопросах совершенно немислима, но ему хотелось быть возможно более точным — ведь он же подчеркивал, что говорит без всяких гипербол.

Преувеличивал ли Чернышевский значение своих отношений с Лободовским? Несомненно. Временами даже слишком преувеличивал. Естественный для двадцатилетнего возраста энтузиазм начинал вдруг переходить в какой-то азарт энтузиазма. Он терял всякое чувство меры, когда писал, что «главная часть» в его внутренней жизни принадлежит Василию Петровичу и только уже «после следуют мысли о человечестве, о религии, социализме и пр., особенно о Франции». Он словно бы не замечал, что следовать мнениям Василия Петровича — одно, а следовать им с точно такой же готовностью, как он отдавался во власть мыслей Гёте, — это совсем другое (Гёте и Василий Петрович!).

Сопоставляя возраст друзей, их жизненный опыт и различие их характеров, начинаешь понимать, что заставляло Чернышевского дорожить каждым часом, проведенным в обществе Лободовского.

Перед Чернышевским был человек явно одаренный, с большими запросами, с богатым содержанием, не находивший себе настоящего применения. Лободовский знал жизнь, хорошо разбирался в людях и, видимо, умел находить пути к чужому сердцу.

Разрыв между сложностью внутреннего мира Чернышевского и его почти младенческим тогдашним поведением в обыденной жизни, разрыв, обусловленный отчасти свойствами характера, а во многом особенностями воспитания, не ускользнул от внимания Лободовского.

Поняв это, Лободовский действовал порою, может быть, с сознательным расчетом. Бывали моменты, когда он мог самостоятельно поправить свои материальные дела, вместо того чтоб заставлять Чернышевского отказываться от необходимого. Однако он слишком легко упускал такие возможности, упускал чуть ли не преднамеренно. Чернышевский же начал подмечать это лишь года через полтора после того, как установились между ними близкие отношения. Недаром он сам остро ощущал в себе недостаток обыкновенной житейской проницательности: «Я узнаю человека в год, между тем как другой узнает за минуту».

Иногда в душе его шевелилось сомнение: не ложное ли направление приняло все его развитие из-за того, что он не похож на других, не любил до сих пор, не знает жизни, людей?

И он начинал чувствовать что-то похожее на зависть к Печорину, который «видел и испытал любовь столько раз, что даже довольно привык к этому», и возникало недовольство собою за то, что «не был еще в делах жизни и борьбе ее, поэтому — дитя».

Как раз ближайшим образцом противоположного был для него Василий Петрович. Он являлся в глазах молодого Чернышевского как бы живым воплощением «Героя нашего времени» с его сильными страстями, резкой откровенностью и тревожной сердечной мукой. Лободовский угадывал, какое впечатление производит он на своего друга, и, угадывая, старался усилить это впечатление.

— Вы сами запутываетесь, давая мне деньги, — сказал он однажды Чернышевскому, — и странно, для чего вы это делаете; думаете ли вы, что после этого я более буду вас уважать? Вовсе нет, да это и сами вы знаете, да и не интересуетесь моим мнением.

Затем разговор, как обычно, перешел на Надежду Егоровну, чувство Чернышевского к которой с недавнего времени начало незаметно ослабевать.

— Как я равнодушен к ней! — воскликнул Лободовский. — Это оттого, что я решительно окаменел, а между тем, она так меня любит, что я даже не знаю, за что.

— Конечно, вам это покажется смешно, — возразил Чернышевский, — но на это скажу я вам словами Веры из письма ее к Печорину: «В тебе есть что-то такое, что любящая тебя не может не смотреть с презрением на всех других мужчин», и действительно, стоит только сравнить кого-нибудь с вами, чтоб он совершенно исчез со всеми своими качествами, обратился в ноль.

— Я знаю, что вы это говорите от души, но дело в том; что вы знаете только одну половину меня, а другую не знаете, и что я хуже, чем вы предполагаете... Я не понимаю, сколько в вас доброты, что вы занимаетесь чужим горем, я не охотник до этого... верно оттого, что сам много натерпелся его — во мне чужое горе возбуждает самые неприятные мысли.

Эта смелая откровенность и самообличение Лободовского только подливали масла в огонь. «Великий человек!.. Боже! Какой человек!» — писал Чернышевский в дневнике, выслушав эти признания.

Глава двадцатая

Ему представлялось, что общение с Лободовским всесторонне обогащает его, что он становится гораздо пронизательнее благодаря встречам с теми людьми, которых анализирует Василий Петрович, благодаря чтению тех книг, которые тот подвергает с ним разбору.

Чрезвычайно любопытно, что будущий критик не себя, а своего друга считал в то время человеком, который «создан быть критиком».

Вкус Лободовского казался ему более тонким и разборчивым, чем его собственный. Он спрашивал себя: природою ли дан Лободовскому дар чувствовать поэзию или это развито опытом и пришло с возрастом?

Иногда взгляд Чернышевского на то или иное произведение окончательно складывался под непосредственным впечатлением от разговоров с Лободовским. Так было после прочтения «Шинели» Гоголя, «Тома Джонса» Фильдинга, «Домби и сына» Диккенса, «Белых ночей» Достоевского.

Чернышевский рассказывает об этом совершенно просто и откровенно: «Читал последнюю часть «Домби» — хуже много первой, и особенно я это увидел, когда Василий Петрович сказал, что хуже». То же и о второй половине «Тома Джонса», показавшейся Чернышевскому несколько более слабой по сравнению с первой: «Я не знаю, заметил бы я это, если бы раньше не сказал это Василий Петрович».

И позднее, когда дружба их явно пошла на убыль, когда безотчетное поклонение Лободовскому сменилось настороженным, критическим отношением к нему, Чернышевский все еще продолжал считать Василия Петровича, «если не умнее себя, то во всяком случае пронизательнее и гораздо старше по уму во многих отношениях». Пронизательность эта касалась как раз, главным образом, литературы.

Чернышевский признавался дальше: «Не могу защи-

щаться от этого влияния, когда он произносит суждение свое о каком-нибудь, особенно литературном сочинении».

Это писалось уже в 1850 году. За три года пребывания в Петербурге Чернышевский вырос. Его кругозор расширился, он успел сделаться материалистом в духе Фейербаха, он окончательно проникся верой в социализм, стал «монтаньяром», оставил далеко позади себя уже начинавшего, повидимому, застывать Лободовского, но, тем не менее, все еще продолжал испытывать на себе силу его влияния.

С самого начала Лободовский как-то особенно резко заострил внимание юного Чернышевского на Гоголе и Лермонтове, творчество которых сыграло своеобразную роль в развитии литературной борьбы, начатой впоследствии (в 1855 году) Чернышевским в «Современнике» и получившей тогда название борьбы за «гоголевское направление», в противовес «пушкинскому».

Неоспоримо, что первый толчок к такому противопоставлению был дан в дружеских беседах с Лободовским, который боготворил Гоголя, ставил его наравне с Шекспиром и склонен был считать Пушкина «легким» по сравнению с Лермонтовым.

И хотя года через полтора прежние друзья почти перестали встречаться, отголоски этих бесед все еще продолжали сказываться.

Вот как описывает Чернышевский одно из своих посещений профессора Срезневского в 1850 году: «Разговор сначала был о Лермонтове, которого я защищал... после несколько о Гоголе, которых Срезневский не хотел считать людьми одной величины с Пушкиным (а я по голосу Василия Петровича ставлю Лермонтова выше Пушкина, а Гоголя выше всего на свете, со включением в это все и Шекспира и кого угодно)».

Лето и начало осени 1848 года прошли в чтении «Мертвых душ», «Белы», «Тамани», «Княжны Мери».

Впрочем, трудно даже назвать это просто чтением. Чернышевский вдумывался в каждое слово этих произведений, подолгу останавливался на деталях, изучал каждую сцену.

Наконец он принялся переписывать лермонтовскую прозу. Большею частью он занимался переписыванием по ночам, когда Терсинские укладывались спать, но

иногда и на глазах у них, хотя делал в таких случаях вид, что переписывает словарь летописи Нестора. Ему не хотелось, чтоб они видели, до чего он увлечен Лермонтовым.

В эти минуты он должен был оставаться наедине с Печориным. И Гоголь и Лермонтов входили в его жизнь, как живые люди. Нередко он представлял себе, как волновался бы он при встрече с ними. И последний миг ожидания этой воображаемой встречи был для него мерилом сильнейшего беспокойства и тревоги, какие только способно испытывать сердце.

Разговоры об этих писателях с Василием Петровичем были всегда особенно задушевные, словно бы речь шла о чем-то понятном по-настоящему только им двоим.

— А ведь «Мертвые души» Гоголя выше «Гамлета», — сказал ему как-то Лободовский. — Вот сказать это Никитенке — разинет рот, а почему разинет, сам не будет знать; это удивительно.

И оба усмехнулись, мысленно пожалев Никитенку.

Прежде читать вслух Чернышевский остерегался. Хорошо запомнились ему слова Михайлова: «Читаете вы монотонно, по-дьячковски». Но теперь, бывая у Лободовских, он охотно брался, оставаясь наедине с Василием Петровичем, читать Гоголя вслух и чувствовал, что чтение удается.

Некоторые сцены «Ревизора» шли просто хорошо. «Это потому, что начал читать с чувством», — сказал он себе. И однажды даже в присутствии Надежды Егоровны стал читать последнюю часть «Театрального разъезда»:

«Первый. Рассудите: ну, танцор, например: там все-таки искусство, уж этого никак не сделаешь, что он делает. Ну, захоти я, например: да у меня просто ноги не подымутся. Ну, сделай я антраша — не сделаю ни за что. А ведь писать можно не учившись. Я не знаю, кто такой автор, но мне сказывали, что он невежа совершенный, ничего не знает: его откуда-то, кажется, выгнали.

Второй. Но однакож, все-таки что-нибудь он должен знать: без этого нельзя писать.

Первый. Да помилуйте, что ж он может знать? Вы сами знаете, что такое литератор: пустейший человек! Это всему свету известно — ни на какое дело не го-

дится. Уж их пробовали употреблять, да бросили. Ну, посудите сами, ну, что такое они пишут? Ведь это все пустяки, побасенки. Захоти, я сей же час это напишу, и вы напишете, и он напишет, и всякий напишет...»

Подумалось: «Да ведь это же рассуждения Ивана Григорьевича!..»

«Надежда Егоровна была в чепчике спальном, он к ней не идет, но все-таки мила, смеялась, не знаю, над картинками «Иллюстрации», которую просматривала, или над гоголевскими судьями: кажется, несколько раз над судьями; если так — хорошо, значит, понимает».

Какое впечатление произведет на Надежду Егоровну Лермонтов, возьмется ли Любинька за «Героя нашего времени», почувствует ли хоть что-нибудь Терсинский, читая «Мертвые души», — все это чрезвычайно занимало Чернышевского.

Он был неприятно удивлен, узнав от Лободовского, что Надежда Егоровна осталась довольно равнодушна к прозе Лермонтова, но тут же попытался оправдать это степенью ее развития:

— Это вещи такие, что вы не в праве огорчаться, — сказал он Лободовскому.

— Да огорчаюсь-то вовсе не я, а вы, — последовал иронический ответ.

Не проходило дня, чтобы между друзьями не зашел разговор о «Мертвых душах» или «Герос нашего времени». Пристальное внимание, с каким они вчитывались в эти произведения, открывало им все новые и новые черты в эпопее Гоголя и в повести Лермонтова.

Воображение Чернышевского так было занято любимыми книгами, что и в окружающей жизни на каждом шагу находил он подтверждение мыслей, вызываемых чтением Гоголя и Лермонтова. Это все более убеждало его, «как в самом деле важны повести и романы для знания и суждения людей».

«Вот ведь, — говорил он себе, — Терсинские решительно для меня были бы непонятны без Гоголя в своих взаимных отношениях».

Размышляя о том, как томительно скучно бывает ему в обществе двоюродной сестры и зятя, как безучастен стал он к ним, Чернышевский невольно обращался к «Герою нашего времени»: «Мелькнула мысль, хорошо объясняющая скуку Печорина и вообще скуку людей на

высшей ступени по натуре и развитию: следствие развития то, что многое перестает нас занимать, что занимало раньше. Это я испытываю, сравнивая себя с Любинькою и Иваном Григорьевичем...»

Так повседневное, близкое, личное переплеталось с тем, что он черпал из книг. Но, конечно, этим дело вовсе не ограничивалось, иначе Чернышевский и не стал бы впоследствии критиком.

Каждая заметка двадцатилетнего юноши, касающаяся «Героя нашего времени» и особенно «Мертвых душ», ясно показывает, что в нем уже тогда пробуждалось природное критическое дарование большой силы.

Мало того, что Чернышевский тонко анализирует характеры основных персонажей «Мертвых душ», мало того, что он схватывает самые, казалось бы, трудно уловимые поэтические частности, он уже обнаруживает умение обнять общим взглядом всю сложность замысла и построения эпической поэмы Гоголя, отобразившей русскую жизнь в ее разнообразных сферах.

Временами в этих записях прорывается и публицистический пафос будущего революционера-просветителя, рассматривающего литературу как могучую силу, способную при известных исторических условиях оказывать громадное влияние на общественную жизнь.

Его предчувствия относительно своей будущей роли проникнуты настоящей любовью к родине, сознанием великости ее назначения, залог которого он видел в деятельности любимых писателей: «Если писать откровенно о том, что я думаю о себе, — не знаю, ведь это странно, — мне кажется, что мне суждено, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и нравственный и практический мир, или просто двинуть вперед человечество по дороге несколько новой. Лермонтов и Гоголь, которых произведения мне кажутся совершенно самостоятельными, которых произведения мне кажутся самыми высшими, что произвели в последние годы в европейской литературе, доказывают для меня... что только жизнь народа, степень его развития определяют значение поэта для человечества, и если народ еще не достиг мирового общечеловеческого значения, не будет в нем и писателей, которые должны быть общечеловеческими... Итак, Лермонтов и Гоголь доказывают, что

пришло России время действовать на умственном поприще, как действовали раньше ее Франция, Германия, Англия и Италия».

Глава двадцать первая

Удивительны настойчивость и постоянство, с какими он думал о том, что однажды заняло его воображение. Вот хотя бы изобретение *perpetuum mobile*. Он был еще четырнадцатилетним мальчиком, когда впервые пришла ему в голову мысль об устройстве особого часового прибора с помощью ртутного термометра. Както в Саратове, когда внезапно расхворалась бабенка, его послали за доктором Троицким. Ему пришлось довольно долго ждать доктора. И вот тут-то, в неудобном кабинете Троицкого, заставленном всевозможными препаратами и приборами, он и набрел на эту идею о двигателе, с которой не расставался потом в течение многих лет.

С того дня он часто с лихорадочным волнением размышлял над разными усовершенствованиями своего проекта, а проект, между тем, постепенно видоизменялся, становился все шире, пока Чернышевский не пришел к убеждению, что он стоит на пути к изобретению машины, способной производить непрерывное движение.

Первые детские мечты о последствиях этого изобретения переносили его прямо в Зимний дворец. Император, призвавши к себе Чернышевского, говорит ему: «Вот ты изобрел машину, которая изменит теперь вид земного шара, избавит всех от работы телесной, от лишений, которые терпит человек в мире физическом. Что тебе надобно в награду за это?»

Чего же он может пожелать? Мысленный ответ юноши должен был показать властителю величие души, бескорыстие и простоту того, кто дарует миру ни с чем несравнимое благо: «Переведите сюда в Сергиевский собор моего отца...»

Он любил возвращаться к мечтам о своей машине и нередко думал о себе, как об орудии Провидения, как об избраннике, призванном снять с людей проклятие: «В поте лица твоего будешь добывать хлеб твой...»

Только бы добиться успеха в опытах. Человечество забудет навеки о нищете, невежестве, рабстве и лишениях. Тем самым будет устранено препятствие к реше-

нию величайших. задач. «Я сострою мост, и человеку останется только идти в поле нравственности и познания». Тогда единственной наставницей его действительно будет природа, а первым правилом поведения заповедь, которую Рабле начертал на воротах Телемского аббатства: «*Fay ce que voudras*» — «Делай, что пожелаешь».

Неудачи с опытами не смущали и не разочаровывали его. Он упорно продолжал поиски новых, более верных путей, продолжал мысленно уточнять, исправлять, перестраивать детали своей машины. В этих исканиях прошло много лет, пока он не убедился наконец в не-реальности *perpetuum mobile*.

Сначала в Петербурге мечты о машине не то что бы забылись, но были оттеснены на второй план. Он сознательно схоронил их до времени в глубине души, решив, что без средств невозможно приступить к практическим исследованиям. Другое дело, если бы он располагал двадцатью тысячами рублей. О, тогда бы он тотчас же принялся за опыты и, кажется, решительно увлекся бы ими...

Глава двадцать вторая

В один из последних теплых дней августа, ближе к вечеру, спешил он к Лободовским — прогуляться с ними, как условились, и проводить их на Крестовский остров, куда они собирались пойти в тот вечер навес-тить родственницу Надежды Егоровны.

Во дворе, почти у самого домика, где квартировали его друзья, Чернышевский по рассеянности споткнулся. Слабо державшееся в оправе очков стекло тотчас выпало и, ударившись о камень, разбилось вдребезги.

С непривычки без очков он сразу почувствовал себя совершенно беспомощным. Раздосадованный на себя за неловкость и вечную свою рассеянность, повернул он обратно, намереваясь поскорее отнести очки к знакомому оптику Шеделю, но по дороге встретился ему Раев и потащил к себе.

— С вами хочет познакомиться Лилиенфельд, которому я много о вас рассказывал. Пойдемте, пойдемте. Это редкая умница, вот увидите. Жалеть вам не придется. А с очками успеется.

Раев давно хотел свести Николая Гавриловича с Лилиенфельдом, державшимся взглядов, весьма далеких от убеждений Чернышевского.

Необычная для девятнадцатилетнего лицеиста начитанность Лилиенфельда, обладавшего обширными историческими познаниями, невольно обращала на себя общее внимание.

Когда ему случалось вступать в спор, он умел держаться спокойно, с холодным и властным достоинством, как бы убеждая противника не только своими доводами, но и выдержкой человека, твердо уверенного в своей правоте.

Столкнуть их Раеву хотелось не без задней мысли. От природы он был хитер и ловок, с большою долей практической сообразительности, с воображением плоским, лишенным полета и направленным преимущественно на устройство житейских дел, что не мешало ему, впрочем, глядя на других, предаваться на досуге даже и рифмоплетству.

Как многие люди такого склада, он не отличался искренностью, был скрытен и очень любил, иногда даже и без всякой необходимости, незаметно, исподтишка подставить ближнему своему ножку и сейчас же замести следы.

Постоянно ощущая подавляющее превосходство над собою Чернышевского и испытывая всегда что-то похожее на тайную зависть к недоступной ему самому свободе, глубине и смелости, с какими родич развивал свои суждения об исторических событиях, о литературе, о политике, Раев не без ехидства предвкушал теперь поражение своего прежнего сожителя в предстоявшем поединке с Лилиенфельдом.

Он вел Чернышевского, как на закланье, и был доволен тем, что явится свидетелем затруднительного положения, в котором непременно, как ему казалось, очутится сейчас его родственник, обычно без особых усилий разбивавший в спорах робких своих сверстников.

А с другой стороны, Раеву хотелось, чтоб и Лилиенфельд, потрудившись над таким крепким орешком, увидел бы, что и в кругу Раева тоже не лаптем щи хлебают. Ведь ему, Раеву, безродному попovichу, затаившему мечту пробиться на верхние ступени чиновничьей иерархии, не чуждо было чувство гордости, связанное

с прочным мнением всей родни о замечательных способностях Николая Гавриловича. Как-никак они родственники с Чернышевским и земляки... Жаль вот только, что способности эти так неожиданно стали получать чрезвычайно странное направление.

Не мешает, впрочем, и аристократам послушать иной раз вольнодумца. Для тех из них, кто поумней, в свободомыслии есть соблазнительная прелесть новизны, на которую господа эти очень даже падки.

Глава двадцать третья

Едва ступил Чернышевский на порог комнаты Раева и только успел познакомиться с Лилиенфельдом, как Раев уже поторопился завязать «дискуссионный» разговор.

— Вот, — сказал он, обращаясь к Чернышевскому, — вы спрашивали меня вчера о Луи Блане. Господин Лилиенфельд расскажет нам подробности его исчезновения...

Однако Лилиенфельд откликнулся не сразу. Разговор сначала пошел об университете, о профессорах, о темах студенческих сочинений на медаль.

Лилиенфельд удивился, узнав, что Чернышевский не пишет на медаль.

— Почему же вы решили не писать?

— Видите ли... как бы это вам сказать... Это — жертва предрассудку. Профессор, у которого я много занимался и по кафедре которого мог бы представить такое сочинение, показал себя слишком строгим и требовательным экзаминатором. Это вызвало у студентов резкое недовольство. Сношения с профессором Срезневским они рассматривают как угодливость. Моего однокурсника Корелкина, решившегося писать ему сочинение на медаль, они открыто осуждают и считают подлецом...

Между тем, скажу вам прямо, я сам не знаю — хорошо ли я сделал, что не пишу на медаль. Теперь, пожалуй, шутя скажут, что мог бы и писать, и ничего бы не сказали против того, если бы я получил медаль, а вот если бы написал и получил, шутя бы восстали против этого и сказали бы, что это приобретено подлостью и угодливостью и тем, что Срезневский рассказал мне все, что нужно для того, чтобы писать...

— Я же говорил вам, что вы будете жалеть об этом, — прервал Чернышевского Раев. — Еще не раз пожалеете, — помяните мое слово...

— А скажите, — полюбопытствовал Лилиенфельд, — в университете теперь, должно быть, только и разговору что о Франции?

— Представьте, нет. Студенты уже поостыли к политике. Теперь совсем не то, что в начале весны, когда ни о чем другом и слушать не хотели...

— Удивительно это равнодушие, этот застой в умах. Происходят события, которые грозят все ниспровергнуть, а эти люди — точно мухи, плывущие на корабле и даже не чувствующие его качки. А качка-то основательная, — усмехнулся Лилиенфельд и принялся перелистывать лежавший на столе июльский том «Отечественных записок». — Все, что напечатано здесь, — проговорил он, выдержав паузу и обращаясь к Чернышевскому, — можно и не читать, когда вспомнишь о Пушкине... Не правда ли?

— Относительно Пушкина я вот что скажу, — отвечал Чернышевский. — Лермонтов, более резкий и более страстный, стал нравиться мне больше, чем светлый и примиряющий Пушкин. Может быть, это удивит вас, но многое у Пушкина кажется мне чересчур известным и легким...

— Ах, это только кажется, уверяю вас.

— Пусть так, но Лермонтова и особенно Гогодя я ставлю выше всего на свете, поклоняюсь им, боготворю их. С них начинается новая эпоха нашей литературы, и Россия будет гордиться ими, как Англия гордится Диккенсом, а Франция — Жорж Занд.

— Вашего увлечения Жорж Занд я не разделяю, хотя мне нравится ее последняя повесть «François de Champri». Я положительно не узнаю в этой спокойной, чистой повести прежнюю Жорж Занд с ее эксцентрическими сочинениями. Должно быть, политические бури ее несчастной родины повлияли на нее и заставили ее обратиться к мирным картинам сельской жизни. Она рассказывает простую историю человеческого сердца без ложных эффектов, без всяких драматических прикрас и натяжек. А, главное, — она не стремится теперь защищать жалкие и вредные парадоксы утопистов...

Последние слова Лилиенфельда заставили встрепе-

нуться Чернышевского, который как-то неохотно втягивался в этот спор.

— На мой взгляд, — сказал он, — Жорж Занд защищала вовсе не жалкие парадоксы, а неоспоримую истину... Несчастливая Франция, говорите вы... А кто повинен в ее несчастиях? Не те ли, кто думал успокоить ее громкими фразами, лишёнными смысла, а не решительным избавлением от социальных зол? Нет, тысячу раз правы социалисты, которые хотят избавить низший класс от рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться...

— Я все это понимаю, — возразил Лиленфельд, — но я осуждаю средства, которыми хотят достигнуть этого, осуждаю крайности — гильотину и баррикады. Поверьте, что Англия с ее конституцией быстрее достигнет прогресса, чем Франция с ее вечными мятежами. В Англии мысль постепенно созревает в высших слоях, меж тем как во Франции она еще не готова, не довершена, а уже низвергает существующий порядок. Но рано или поздно оружие обращается против тех, кто поднял его. Франция пожинает сейчас плоды своего безумия. В феврале реформисты заставили бежать в Англию короля, а теперь кое-кому из них самих придется бежать туда же. Да и сам-то Луи Филипп, этот «король с зонтиком подмышкой», не детище ли таких же волнений? Нет, как хотите, эта беспокойная нация решительно мне не по душе.

— А по мне, мятежная свобода предпочтительнее позорного спокойствия, — медленно проговорил Чернышевский. — А что касается чьего-либо бегства в Англию, то ведь случалось и обратное, случалось и островитянам искать убежища на континенте, и роялистам, и их противникам.

— Взгляните, — продолжал Лиленфельд, не слушая возражений Чернышевского, — мир содрогается от агонии великих народов. Правительства, казавшиеся незыблемыми, низвергнуты единым натиском. Древнейшие столицы Европы залиты кровью. Миллионы сердец охвачены страхом и тревогой за будущее. Повсюду раздоры и распри, повсюду развязаны темные страсти толпы, чувства ненависти и мести господствуют над

всеми другими чувствами. Одна только Англия осталась среди европейской смуты спокойной и свободной от революционного яда...

— Однако и в истории Англии были яркие страницы,— сказал Чернышевский. — Вспомните Англию середины семнадцатого века.

— Что ж! Никакого сравнения с Францией! — воскликнул Лилиенфельд. — То был самый благодетельный, самый мирный из всех переворотов. Я понимаю гордость Маколея, когда он рисует обстановку, в которой происходила «революция» (если только применимо здесь это слово), низложившая Стюартов. В то время, когда парламент объявил Якова II лишенным престола и призвал Вильгельма Оранского, палаты торжественно заседали в старых покоях по старому церемониалу: спикер в кресле, сержант с булавою, ведущий депутацию лордов, лорды в шляпах и в горностаях по одну сторону стола, по другую — представители общин с непокрытой головой. А между тем ведь решался вековой спор парламента с королем, происходил поистине великий переворот, после которого английский государственный корабль стал на прочный якорь и обществу была обеспечена возможность спокойного развития.

— Но вы забываете, — отвечал Чернышевский, — что тысяча шестьсот восемьдесят восьмому году предшествовали десятилетия борьбы, когда и была, собственно, завоевана победа не среди бесконечных потоков парламентского красноречия, а в пороховом дыму, под стоны раненых и умирающих, не в состязаниях парламентских ораторов, а в бурях народных волнений. И достойная приснопамятная кара постигла тех, кто не хотел думать о народе. Я говорю о казни знаменитого Страффорда и о Карле, который двести лет тому назад в холодный январский день взошел на эшафот в Уайтгалле. Они забыли о народе. Страффорд за несколько лет до своего конца писал, что народ спокоен и доволен, упоен милостями и покровительством короля. А личный секретарь короля Уорик, описывая предреволюционные годы, говорит: «Каждый сидел тогда под своей смоковницей, и источники справедливости текли ясной и быстрой струей». Они не видели и не слышали, не хотели видеть и слышать, как возмущение тиранией зрело, накоплялось и ширилось в мас-

сах народных. Вы говорите о том, что идеи должны сначала созреть в высших слоях, а на мой взгляд, сам народ, и только народ в целом, является верховной властью и высшим судьей. Несмотря на поражения, демократия добьется победы, потому что она учится на своих ошибках. Народ может потерпеть сто поражений, но никогда не погибнет, тогда как одна победа принесет ему окончательное торжество. Равенство есть идея, которую нельзя задушить в темницах или расстрелять из ружей.

Она восторгается, ибо она есть справедливость, а торжество справедливости — это «закон природы». Все имело свое время и место, и все минуло, все прошло: рабство и касты, империя Александра и Рим, язычество и всемирная монархия пап, феодализм и вассалитет, пытки и костры, — почему же аристократия и привилегии не уступят места демократии и равенству? Будьте готовы! — говорит Ламенне, — ибо времена исполняются...

Глава двадцать четвертая

На следующее утро, отдав Шедело исправлять очки, Чернышевский пошел переждать, пока они будут готовы, в кондитерскую Вольфа на Невском. Он заглядывал иногда и в другие кофейни — к Излеру и к Доминику, но чаще все же бывал у Вольфа. Он любил проводить здесь свободное время за чашкой кофе, просматривая свежие номера «Journal des Débats», «Moniteur», «La Presse». Так повелось у него еще с весны этого года.

Начиная с 24 февраля 1848 года парижские газеты не переставали заражать его, как и многих других петербуржцев, каким-то нервическим раздражением.

Особенно сильно это чувствовалось в первые дни после парижских событий, когда дело доходило иногда до того, что кто-нибудь из посетителей кондитерской, завладев газетным листком, взбирался, окруженный нетерпеливой толпою, на столик и вслух читал то страстные речи Луи Блана в Люксембургском дворце, то торжественно составленные декреты временного правительства.

Усевшись за столик, с волнением прочел он в «Moniteur'e» отчет о заседании Собрания двадцать пятого августа, на котором его любимец Луи Блан в последний раз, перед тем как покинуть тою же ночью Париж,

взошел на парламентскую трибуну, тщетно надеясь восстановить истину и образумить своих обвинителей.

Да, во Франции господствовала теперь разъяренная контрреволюция, спешившая устранить ненавистных ей предводителей демократических партий.

Потопив июньское восстание сорок восьмого года в крови, вожаки победившей реакции горели теперь нетерпением совсем освободиться от них. Они назначили комиссию по расследованию событий во время манифестации пятнадцатого мая и июньского взрыва. Следственная комиссия пошла на все уловки, чтобы только впутать популярных в народе Луи Блана, Коссидьера и Ледрю Роллена в июньские события, предать их суду, растоптать их, покончить с ними раз навсегда.

«—Я сказал вам правду, — закончил свое выступление Луи Блан. — Для тех, кто меня не знает, нужны были доказательства. Но я осмеливаюсь сказать здесь, что знающим меня достаточно было бы моего слова, ибо им хорошо известно, что ложь показалась бы мне слишком дорогой платой за жизнь».

И когда он кончил, то вокруг царил тяжелое безмолвие. То была тишина ненависти на скамьях правой, среди его многочисленных врагов, втайне уже праздновавших победу, и тишина томительного ожидания на скамьях левой — среди немногих его единомышленников и друзей.

...Итак, Луи Блан в изгнании... Он не пожелал отдаться в руки своих преследователей и в ту же ночь бежал в Лондон. Реакция во Франции открыто развернула свое черное знамя. При мысли об этом Чернышевскому было тягостно до боли.

Застыв над газетным листом и не прикасаясь к чашке кофе, он сидел, углубившись в размышления, и не замечал, что кондитерская давно уже переполнена публикой с Невского, спешившей укрыться от сильного дождя.

Наконец он очнулся, отложил газету в сторону и вздрогнул, вспомнив, что от Шеделя должен успеть в университет, потом домой, потом к Раеву, который просил притти сегодня помочь собраться при переезде на новую квартиру, а затем еще к Василию Петровичу...

Он поспешил расплатиться и вышел из кондитерской.

Дома время незаметно промелькнуло за обеденными разговорами с Терсинским о западных делах, за обработкой записей лекций Срезневского о чешской культуре.

В пять часов он был у Раева. Едва успел перекинуться с ним двумя-тремя словами, как явились носильщики, и Раев удалился сопровождать их на новую квартиру.

Оставшись один в комнате, Чернышевский прилег на диван. Он любил читать и раздумывать лежа. От усиленных занятий постоянно чувствовал он легкую боль в спине.

Часто он начинал петь, если знал, что никто не услышит его. Так и сейчас, оставшись наедине, он затянул сначала совсем тихо, потом все громче тонким, высоким голосом:

Эх, вдоль по улице молодчик идет...

Еще два-три куплета, а дальше он позабыл слова и хотел уже начать «Сени», но как-то само собою запелось из «Mailied» Gëre:

Wie herrlich leuchtet
 Mir die Natur!
 Wie glänzt die Sonne,
 Wie lacht die Flur!

 O Mädchen, Mädchen,
 Wie lieb ich dich,
 Wie blickt dein Auge!
 Wie liebst du mich!

¹ Все нежит взоры,
 Все нежит слух,
 Блистает солнце,
 Смеется луг!

 О, дева, как я
 Люблю тебя!
 Как взор твой светел!
 Люби меня!

(Пер. А. Фета.)

И только кончил «Mailed», как тотчас вспомнил любимую свою песню Маргариты из «Фауста»:

Meine Ruh' ist hin,
Mein Herz ist schwer.
Ich finde sie nimmer
Und nimmer mehr¹.

Стоило ему начать эту песню, полную нарастающего волнения и беспокойного чувства первой девической любви, как он подумал о Надежде Егоровне.

Сейчас она представлялась ему совсем не тою простоватой, хотя и обворожительно красивой дочерью станционного смотрителя, что провела свое детство и юность на станции Средняя Рогатка по Московской дороге и которая так смешно называет своего котенка «Микишечкой», любит играть в карты — в мельники и в короли...

Кто же она — Маргарита или, быть может, Текла из «Пикколомини» Шиллера?.. Текла, проводившая затуманенным взором Макса и задумчиво прислушивающаяся к своей игре на арфе и тихо-тихо выпевающая: «Дубовый лес шумит»...

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn,
Das Mädlein sitzt an Ufer's grün...
Das Herz ist gestorben, die Welt ist leer,
Und Weister giebt nichts dem Wunsche nach mehr².

Так он лежал с полчаса, а может быть, больше, раскинувшись на спине, и пел, и вспоминал, и слезы невольно бежали у него из глаз, хотя на душе было светло и радостно.

Глава двадцать шестая

Пошел третий год пребывания Чернышевского в университете. Первого сентября после молебна огласили списки студентов, как вновь принятых, так и перешедших на следующие курсы.

¹ Мой покой утрачен,
На сердце тяжело...
Никогда не обрету я покоя,
Никогда.

² Дубовый лес шумит, плывут облака.
Девушка сидит на зеленом берегу...
Сердце разбито, мир опустел,
И нечего больше делать...

Услышав свою фамилию, он почему-то вздрогнул, словно не совсем был уверен, что его переведут. И тотчас же сам удивился этому внезапному беспокойству. Ведь знал же точно, что он на третьем курсе, что иначе и быть не могло, однако сердце все-таки дрогнуло.

Начало занятий не произвело на него никакого впечатления. Опять все те же примелькавшиеся лица однокурсников. Вихрастый Лыткин, скромный, тихий Славинский, заика Орлов, поражающий своей глупостью Залеман, неряшливый и грубый Герасим Покровский, Корелкин, с которым приходится соперничать в занятиях по славянской филологии у Срезневского, Галлер, Главинский, Воронин...

Те же профессора — педантичный Фрейтаг, у которого Чернышевский по рассеянности сразу же срезался: перечисляя цезарей, спутал Калигулу и Клавдия... И сам же поймал себя тотчас на ошибке, смутился, понизил голос, забормотал и не успел кончить фразу, как услышал язвительное замечание профессора:

— *Carissime Tschernyshevski! Saepius erum offensus voce tua obscura...* (Милейший Чернышевский! Меня часто раздражал твой невнятный голос...) — И после небольшой паузы, полной яда: — Постарайся сказать яснее...

Сказать яснее? Мысленно Чернышевский усмехнулся. Яснее следовало бы сказать, что уморительны ваша глупая надутость и ваш детский педантизм, почтенный профессор римской словесности, Федор Карлович Фрейтаг.

Уморительны... если бы не было так скучно все это...

Снова дряхлый семидесятилетний Грефе, самодовольно рисующийся Куторга, добродушнейший Плетнев, никогда не расстающийся с черною тростью, которая досталась ему, как уверяют, на память от Пушкина, велеречивый Никитенко с его манерой усиленно жестикулировать, а при слове «изящное» как-то особенно поднимать вверх правую руку и складывать в кольцо указательный и большой палец.

— Милостивые государи! — начнет он своим гибким и вкрадчивым голосом, зная, что это либеральное обращение к юношам льстит им. — Изящное в природе (тут правая рука его привычно и плавно поднимается вверх) и изящное в искусстве, или, иными словами. — искус-

ство и действительность — вот тема, которую надлежит нам теперь рассмотреть всесторонне.

Затем цитаты из Гегеля, устаревшие положения, общие слова об истине, добре и красоте...

А ведь Никитенко — еще один из лучших профессоров... Срезневский и Никитенко... Прочих Чернышевско-му решительно не хотелось и слушать.

Он и других студентов стал уговаривать горячо и крикливо — как у него всегда получалось в минуты волнения — не оставаться на лекциях Грефе.

«Довольно, довольно, господа классические филологи!.. Есть вещи более важные, более интересные, чем ваши склонения... 1789 год... Новая философия... Франция этих дней... Луи Блан... Леру... Прудон...»

На второй день после начала занятий Чернышевский в часы, когда у Грефе шло чтение Софокла, сидел в университетской библиотеке за энциклопедическим словарем Эрша и Грубера... Буква Н (Аш)... Он пробегает глазами статью о якобинце Hebert'e (Эбере), написанную резко осудительно, с нескрываемым пристрастием: «Эбер — только бесчестный демагог, которому грозные дни революции помогли завоевать свое счастье, враг церкви, беспринципный главарь какой-то кучки безумцев, жаждавшей власти. Палач, хладнокровно бросавший на эшафот своих противников, но малодушно упавший в обморок, когда в разгуле террора пришла его очередь проследовать к месту казни, под нож гильотины».

Странное дело, эти инвективы уже не оказывали теперь на Чернышевского никакого действия. В душе его даже не шевельнулось чувство осуждения кровавых дел помощника прокурора Коммуны. Странно... Ему показалось, что он и впрямь становится последователем красной республики, если угодно — даже террористом. И мысль об этом впервые пробудила в нем какое-то смутное опасение за свое будущее...

«Не революционист ли я?» — спрашивает он себя и сам удивляется тому, что образ его мыслей успел претерпеть такие сильные изменения за два года его пребывания в Петербурге.

Теперь все чаще встает перед ним этот вопрос, по мере того как глубже и глубже впитывает он в себя историю, по-иному начинает воспринимать современ-

ность и проникается постепенно горячею верой в будущее.

В истории влекут его к себе суровая и величественная тень Кромвеля и монументальные фигуры деятелей французского Конвента. В современности—рыцарски прямодушный Барбес, избранник парижских предместий рабочий Альбер, пылкий Луи Блан, идеям которого юноша Чернышевский особенно сочувствует потому, что Блан—это первый из тогдашних его учителей в социалистическом духе. Ведь именно из «люксембургских бесед» этого философа и трибуна, борца и историка Чернышевский узнал тогда «все эти вещи», то есть получил представление о сущности новых начал, провозглашенных во Франции.

«Уж не решительно ли я революционист?» — снова спрашивает он себя, проверяя свое впечатление от знаменитого единоборства Прудона с Тьером в июле 1848 года.

Его поразил «необыкновенный жар» прудоновского ответа Тьеру, когда Прудон, как «неукротимый гладиатор», поднявшись вдруг во весь рост, заставил смолкнуть яростные, враждебные голоса, посылавшие его «в сумасшедший дом»!

Защитник буржуазного правопорядка, Тьер, отвергая перед Собранием финансовый проект безансонского утописта, пытался задеть личную честь своего противника намеками на моральное растрение людей, проповедующих уничтожение собственности. И упорный плебей Прудон поднял перчатку, брошенную ему Тьером.

— Говорите о финансах, но не говорите о нравственности; я могу принять это за личность, я вам сказал это уже в комитете. Если же вы будете продолжать, я... я не вызову вас на дуэль (Тьер улыбнулся); нет, мне мало вашей смерти, — этим ничего не докажешь. Я предложу вам другой бой. Здесь, с этой трибуны, я расскажу всю мою жизнь, факт за фактом; каждый может напомнить мне, если я что-нибудь забуду или опущу. И потом пусть расскажет свою жизнь мой противник.

Взоры всего Собрания были обращены на Тьера, с лица которого исчезла улыбка. Ответа не последовало ¹.

¹ Маркс, характеризуя, между прочим, эту схватку, писал, что «Рядом с Тьером Прудон казался каким-то допотопным колоссом».

Через несколько дней после того, как Чернышевский прочитал об этом выступлении Прудона, ему пришлось услышать весьма недоброжелательный отзыв о проекте Прудона из уст профессора всеобщей истории Куторги.

Куторга, слывший в университете либералом, иногда позволял себе отклоняться от предмета своих лекций, чтобы побеседовать на более острые и злободневные темы. Эта-то привычка и создала ему «опасную» репутацию, заставлявшую попечителя Мусина-Пушкина появляться внезапно на его лекциях.

Так вот Куторга, отклоняясь на сей раз от бесед о начале феодализма, раскритиковал перед студентами предложение Прудона о даровом кредите и вдобавок разобрал автора этого проекта.

Чернышевский, чувствовавший непреодолимое тяготение и симпатию к нововводителям, подрывающим устой старого порядка, был так живо затронут словами профессора, что решил даже написать в защиту Прудона письмо и перед началом следующей лекции незаметно положить его на стол профессору. Но так оно, кажется, и осталось лежать в кармане Чернышевского: он еще не обрел тогда той решительности, с какой начал думать и действовать несколько позднее.

«Уж не становлюсь ли я человеком крайней партии?» — онять и онять спрашивал себя Чернышевский, возмущенный обвинениями, выдвинутыми следственной комиссией во главе с тупоголовым болтуном Одиллоном Барро против таких людей, как Коссидьер, Луи Блан и Ледрю Роллен.

И тут же он убеждал себя: «В сущности нет ничего странного, что реакционному большинству Собрания люксембургские речи Блана кажутся «великим преступлением»... «Они в ужасе от этого, а мне кажется это самыми обыкновенными теперь речами, выражением мыслей, которые должен предполагать каждый умный человек во Франции у себя и другого умного человека — что народ выше Собрания, — следовательно, имеет право повелевать... Они, конечно, не могут удержаться от преследования этих людей, но эти идеи велики и в них благо человечества и грядущее его...»

«Не люблю я этих господ, которые говорят: свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово да написали его в законах, а не вводят в

жизнь, что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых народа — рабы и пролетарии; не в том дело—будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого.

И какое подлое лицемерство! «Мы не требуем приговора над ними!» Вы—не суд! *Vous ne préjugez rien!* — Вы ничего не предрешаете! Что за низость—играют словами и накидывают маску! Если когда я был убежден в справедливости чьего дела, так это Ледрю Роллена и Луи Блана. Великие люди! Особенно я люблю Луи Блана, это человек духа, это великий человек!

А это сильное разочарование видеть, что так преследуют этих людей те, которые ничто перед ними, и, может быть, несколько подобных вещей, как решение Национального Собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить мое убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 году, когда казнили все всех, и что настали времена новые и лучшие, где уважают убеждения в противнике, где не думают, что законопреступно все высказывать, всякое сильное убеждение, всякую новую (т. е. новую только для господ, которые не хотят видеть ее во всей истории) мысль. «На эшафот! На эшафот! туда его — он говорит, что он сын божий! По закону нашему должен есть умереть!»

Да, великую истину говорят Ледрю Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь — привилегия нескольких, расширились на всех. О, боже, дай победу истине! Да победит она!»

Глава двадцать седьмая

Хотя душа и мысль Чернышевского жили в сущности уже далеко за пределами университетских стен, он все же должен был каждодневно посещать лекции, записывать их, подавать профессорам свои работы, ждать их оценки, вникать во все интересы своего курса, вплоть до мелочей.

Между тем отношения его с профессорами классических языков — с Фрейтагом и Грефе, особенно с первым, обострились и вот-вот готовы были окончиться ссорой.

Она назревала постепенно, и Чернышевский еще недели за две до возобновления занятий принял решение или вовсе уклоняться от посещений лекций Фрейтага и Грефе, или заниматься на них своими делами — писать, например, дневник или письма домой и по возможности не принимать никакого участия в беседах; словом, вроде как бы отсутствовать.

Одним из поводов к такому молчаливому протесту была мелочная, бессмысленная, удручающая его придирчивость этих профессоров и вдобавок еще чисто немецкая грубость Фрейтага, не обращавшего внимания на то, что он попирает достоинство студентов своим гувернерски строгим тоном.

После того, как Фрейгат однажды грозно прикрикнул на Залемана: «*Non est confabulandum!*» (Не болтать!), однокурсники Чернышевского намеревались даже обратиться к профессору с требованием оставить этот унижительный для них тон.

Но разговоры об общем протесте велись как-то не очень уверенно и ничем не кончились. Чернышевскому, при всем его природном миролюбии и мягкости, при всей его внешней податливости, всегда были крайне неприятны чьи бы то ни было повадки повелевать, третировать других, распоряжаться ими, попирать чужую свободу. В детские годы в играх с приятелями он становился на сторону младших и более слабых. В семинарии он не переносил тех преподавателей, которые подавляли учеников своим авторитетом, вечно всех наставляли, всем указывали, всех поучали. Сам он совершенно не способен был понукать, поучать и указывать.

В университете он сразу же проникся антипатией к инспектору Алексею Ивановичу только за то, что тот имел право подойти и в любую минуту сделать ему замечание, что он не при шпаге, что у него расстегнута пуговица на мундире, что пора подстричь волосы — они слишком длинны, и тому подобное. Уже одна эта возможность получить замечание заставляла Чернышевского оставаться в аудитории даже во время перемены, лишь бы не столкнуться в коридоре с Алексеем Ивановичем.

Можно представить себе, как раздражали Чернышевского, как ненавистны были ему высокомерие самоуверенного Фрейтага, злорадно ловившего студентов на

ошибках, его замечания, его неуместные шутки на лингвистском либо на ломаном русском языке.

И Фрейтаг и Грефе так плохо изъяснялись по-русски, что на их счет в университете ходили анекдоты, вроде того, что, встретившись на улице, эти лингвисты вели между собой такой разговор: «Откуда вы?» — спрашивает Фрейтаг своего коллегу. Грефе, шедший из цырюльни, отвечает, что он «стригалься». — «Следует сказать — стригнулся», — поправляет его Фрейтаг...

Юношу бесило, что они возводят изучение грамматики в какую-то особую, спасительную для людей науку, драгоценную даже без всякого практического приложения ее к жизни.

Были еще свои особые причины у Чернышевского негодовать на Фрейтага. Профессор будто и не замечал его действительно превосходного знания латыни, а, наоборот, при случае старался кольнуть, да посильнее, за какую-нибудь мелкую ошибку или сказать что-нибудь обидное, как сказал, например, в конце минувшего учебного года, что Чернышевский весь год подавал переделки или переложения из древних писателей, а это более легкое дело, и что поэтому он, Фрейтаг, хоть и не осуждает, но «впредь ждет своего».

Как на беду в последнем поданном тогда сочинении нашлись две-три весьма неприятных ошибки, которые Фрейтаг не замедлил торжественно обнародовать. При этом он водил глазами по аудитории, ища на лицах студентов улыбки, одобряющей его издевательский тон.

Несколько дней после этого Чернышевский бесился и на себя за допущенные промахи, и на Фрейтага, за то, что тот не предупредил раньше о нежелательности переработок, и даже на товарищей ему было досадно, потому, что казалось, что они спустят теперь на несколько градусов мнение о нем, как о латинисте.

Сцены в том же духе, лишь менее яркие, бывали и на лекциях Грефе.

Правда, впоследствии, немного позднее, Чернышевский в свою очередь поймал на удочку самого Федора Карловича. Но о шутке, которую он сыграл с профессором исключительно для своего морального удовлетворения, Чернышевский при жизни Фрейтага никому не рассказывал, щадя, должно быть, репутацию старика.

А заключалась эта шутка в том, что, взяв «De Natura

Deorum» Цицерона, он дословно выписал оттуда отрывок в несколько страниц, заменив в нем лишь названия «Афины» и «Спарта» названиями «Киев» и «Новгород» и озаглавив отрывок «Переводом русской проповеди XIII века».

Фрейтаг отметил в работе много «плохих оборотов» (это у Цицерона-то!) и дал оценку — «не более, как порядочно».

Демонстративное ли отсутствие Чернышевского на некоторых лекциях Фрейтага и Грефе, замеченное ими, или, может быть, что-то более серьезное привело в конце концов к вспышке затаенного недовольства и к ссоре его с профессорами. Тут вмешался и попечитель Мусин-Пушкин, сделавший Чернышевскому, повидимому, резкое внушение, которого последний никак не мог ему простить и долго потом был одержим страстным желанием отомстить этой «гадкой развалине», нанести ему оскорбление, дать пощечину или что-нибудь в таком роде.

Кто-то из земляков, — трудно было догадаться — кто, — проведав об этом недоразумении, услужливо сообщил тогда же обо всем случившемся в Саратов. Обеспокоенный Гавриил Иванович, едва смиряя боль и тревогу, спрашивал сына в письме, что за история вышла у него в университете.

В ответном письме, написанном по-латыни, Чернышевский поспешил успокоить отца и уверить его, что ничего, ровным счетом ничего не случилось.

Вот он торопится в университет и по дороге, дойдя до Чернышова моста, спохватывается, что опять позабыл захватить с собою «Жизнь двенадцати императоров» Светония, которого они изучают на третьем курсе с Фрейтагом.

Вдруг тот заметит и спросит: «Что, снова у тебя нет?..»

«Спросит или нет?»

И большую часть оставшегося пути он все обдумывал, как ответить на это? «Noli queso res alienas» или «ea que nihil ad te spectant scrutari». (Прошу не спрашивать про вещи, которые тебя не касаются.) Впрочем, может быть, лучше будет ответить совсем кратко: «Moperi pop amo» (не люблю поучений)... хотя,

собственно, тут лучше сказать: «Moneri minime aro»...
А может быть, он и не спросит?.. Не спросит, конечно...

Глава двадцать восьмая

Не мудрено, что после таких историй сидеть на лекциях Никитенки, Срезневского и Куторги было просто отдохновением, хотя мнения первого казались ему устаревшими, самый предмет второго не столь уж увлекательным, а манера третьего читать чересчур изысканной и вычурной.

Иногда лекции Никитенки, которые назывались «педагогическими», проходили довольно оживленно, — ведь они были посвящены, главным образом, разбору самостоятельных работ студентов, чтению ими своих статей, обсуждению всевозможных литературных вопросов без какой-нибудь строгой программы.

— Ну, господа, кто из вас имеет готовую мысль, чтобы писать? — спросил как-то Никитенко студентов вскоре после возобновления занятий. И тут же выдвинул ряд тем.

Подумав, Чернышевский уже хотел подняться и заявить, что берет одну из них — анализ «Героя нашего времени», каждую сцену которого он столько раз и так внимательно читал. Хотя прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он переписывал по ночам страницу за страницей лермонтовскую повесть, однако с прежнею свежестью ощущал он неотразимую ее силу.

«Вот моя тема», — решил он... Но тут его намерение предупредил вдруг, любимчик Никитенки — Главинский, что сначала несколько даже раздосадовало Чернышевского.

Как раз в этот день он был особенно возбужден и очень шумно вел себя в университете, по многу раз, и чуть ли не наизусть, повторяя на переменах кучке студентов самые сильные места из речей Коссидьера и Блана. Он сам стал замечать, что временами способен как бы вовсе освобождаться от присущей ему обычно застенчивости. Прежде нечто подобное случалось с ним лишь в узком кругу, над мнениями которого он привык, как он выражался, «господствовать». А теперь он вообще чувствовал потребность действовать, проявлять себя, участво-

вать в спорах, высказываться. Ему хотелось окончательно отбросить природную мнительность, которая всегда связывала его в многолюдном обществе, мешала свободно, увлекательно и смело говорить, как умел он говорить в дружеской беседе с глазу-на-глаз или в привычной среде.

«Надо решительно избавиться от застенчивости», — настойчиво внушал он себе. Но, увы, — исцеление давалось не так-то легко.

Правда, внешне он уже значительно быстрее овладевал теперь собою, подавляя усилием воли проявление беспокойства. Но если бы кто-нибудь мог в такие минуты прочесть его мысли или заглянуть ему в душу, тот увидел бы, как подавленное им волнение все время стремится вырваться наружу и как неотступно продолжает он следить за всяким своим движением, за мельчайшими изменениями своего состояния, будто он пристально и хладнокровно наблюдает за собою со стороны. Юношески нетерпеливое, настороженное и нервное самолюбие, которым он еще не научился как следует управлять, заставляло его очень волноваться в такие минуты.

Беспокойство особенно сильно сказывалось именно перед тем, как он должен был начать говорить в аудитории. Оно до такой степени овладевало тогда всем его существом, что у него начиналось сердцебиение, кружилась голова и разгорались щеки, а раз, — это было на лекции у Фишера, — он так разволновался, что к концу ее, по мере приближения решительной минуты, даже начал весь дрожать, как в лихорадке.

Вместе с тем он сам поражался тому невозмутимому спокойствию, с каким он действовал в гораздо более сложных обстоятельствах.

Да вот, к примеру, случай, приключившийся с ним в середине ноября, когда однажды поздно вечером он возвращался от Лободовских, где они втроем незаметно провели время за игрой в короли.

Шел крупный снег, было морозно. Пересекая переулок между Гороховой и Пятью Углами, Чернышевский остановился посреди улицы, привлеченный зрелищем пожара, занявшегося где-то в стороне от Семеновского плаца.

Он не слышал насмешливых окриков извозчика, везшего подвыпивших купцов: «Сторонись! Чего рот-то

разинул?», но когда извозчик задел его оглоблей, Чернышевский понял, что «ванька» хотел немного позабыть своих седоков.

Этого было довольно... Не раздумывая, совершенно спокойно, с холодной безучастной решимостью он боком лег на сани между козел и седоками, протянул руку к голове извозчика — ражего парня лет двадцати, сдвинул ему шапку набок и крепко-накрепко захватил в пятерню прядь его густых и мягких волос.

Он не теребил оскорбителя за волосы, он даже не сказал ему ни слова, а только все крепче и крепче сжимал кулак. Проехав в таком положении несколько сажен и решив, что обидчик наказан достаточно, поднялся спокойно, повернул назад и молча пошел, стряхнув с пальцев вырванные волосы...

Легкое чувство досады на Главинского не прошло у него и после окончания лекции.

«А, впрочем, может быть, и к лучшему, что надо будет выбирать другую тему, — утешал он себя. — Разбор всего «Героя нашего времени» — это слишком много, пожалуй. Лучше взять один какой-нибудь характер, ну, хотя бы Грушницкого. Остановиться только на нем, но взять его глубоко и всесторонне».

Потом мелькнула еще мысль: не написать ли на более отвлеченную тему из предложенных Никитенкой, например, — об отношении искусства к действительности?..

Размышляя так над выбором тем, безвестный студент третьего курса философского факультета менее всего угадывал и едва ли даже смутно предчувствовал тогда, что именно этой отвлеченной теме суждено будет сделать через несколько лет его имя знаменитым, что он, Чернышевский, наполнит ее животрепещущим содержанием, создавая свою магистерскую диссертацию, которая породит бурю споров и откликов за стенами университета, расколет читателей на два лагеря, заставит одних превозносить его, а других — клеймить и ненавидеть.

Нет, он просто связывал тогда с выступлением у Никитенки пробуждавшуюся надежду выдвинуться, обратиться на себя его внимание, может быть, еще и внимание ректора Плетнева, получить хотя бы благодаря этому «дальнейший ход».

Но в тот раз он так и не решился остановиться на этой теме или на Грушницком, а принялся за другую работу, следствием чего явилось потом одно любопытное знакомство.

Глава двадцать девятая

Бездействие уже начинало тяготить его. Он чувствовал, как зреют в нем зародыши большой силы, которой негде было обнаружиться и развернуться. Час его еще не настал, но молодости несвойственно мириться с законами сроков. Отчасти вследствие этого, а может быть, еще и потому, что далеко неясен был двадцатилетнему Чернышевскому его будущий путь, временами овладевала им какая-то апатия и безучастность к тому, как складывается его жизнь.

Лениво и холодно думал он в такие дни о своей будущности, либо даже вовсе не думал о ней, стараясь предоставить все естественному течению обстоятельств.

Сердце билось медленней и равнодушной. То, что недавно представлялось важным и необходимым, теряло теперь в его глазах значение.

Большие ожидания внезапных перемен и крутого поворота исчезали, уступая место скучным житейским заботам об осуществлении скромных надежд и довольно мелких, с его точки зрения, планов. Но раз ничто не предвещало, что близится исполнение его настоящих желаний, то не столь уже важными казались ему успехи и неудачи в университете, отношения с профессорами и прочее.

Книги сменяли одна другую, и нехватало времени поглощать их. Случалось, что им овладевало такое нетерпение познакомиться с какой-либо новой, только что взятой в библиотеке книгой, что он принимался за нее еще по дороге домой из университета.

Постепенно это вошло в привычку, хотя не раз, углубившись в чтение, задевал он встречных прохожих, получал замечания, на него оглядывались, пожимали вслед плечами, а он продолжал медленно идти, держа раскрытый томик перед самыми глазами.

Дома большею частью его сразу охватывало чувство принужденности и стеснения от присутствия Терсинских. Вернется воодушевленный прочитанным, ему хо-

чется сейчас же с кем-нибудь поделиться, а говорить в сущности не с кем. Иван Григорьевич выслушивает его косясь, даже, пожалуй, с затаенным презрением, как моллокоса и фантазера.

Любиньке эти высокие материи просто скучны и недоступны. Она охотнее уселась бы играть в карты — в пикет или в бостон, чем слушать пререкания о политике.

Десятки раз он давал себе зарок никогда не начинать здесь разговоров о том, что живо затрагивало его или близко касалось убеждений, и все-таки не всегда мог удержаться от того, чтобы не читать Ивану Григорьевичу вслух яркие страницы из Гизо или Бекера.

Его толкало на это желание сломить наконец непоколебимую отсталость взглядов самонадеянного зятя, чуравшегося, как огня, всякой новой мысли о государстве, об историческом процессе, об общественном порядке. Но все попытки пленить Терсинского красноречием историков и сильными примерами из книг все равно не имели никакого успеха.

Терсинский продолжал оставаться при твердом убеждении, что сам он лучше всякого Гизо знает, что возможно и что невозможно, что полезно и что вредно для человечества.

Это бесило Чернышевского, и он снова замыкался, замолкал, напускал на себя хмурый вид до первого случая, пока не остывало раздражение и пока новое, сильное впечатление от прочитанного не побеждало принятого им решения хранить дома молчание либо отделяться только разговорами о пустяках.

К Любиньке он испытывал теперь одновременно и презрительную жалость и антипатию. Даже улыбка ее казалась ему приторной. Болезнь, все время незаметно подтачивавшая Любиньку, наложила на ее лицо какой-то мертвенно желтый отблеск. Было видно, что долго она не протянет, но даже и это не ослабляло его антипатии к ней.

То замиравшее, то вновь поднимавшееся враждебное чувство к Терсинским всегда разгоралось в те периоды, когда его захватывало увлечение какими-нибудь новыми идеями либо когда завязывалось у него знакомство с новыми людьми, представлявшимися ему значительными и интересными. Тогда рутинная, в которой погрязли его сожители, обозначалась резче и выразительней.

Чернышевский начал писать для Никитенки психологический этюд о Гёте. Он находился под живым и сильным впечатлением от «Поэзии и правды», только что прочитанной им в оригинале. Автобиография Гёте очаровала его.

Сначала он хотел остановиться лишь на обвинениях Гёте в эгоизме, которые нередко раздавались по адресу автора «Поэзии и правды».

Желание оградить поэта от этих обвинений возникло тогда у Чернышевского в связи с неуважительным, как ему показалось, отзывом Никитенки о Гоголе.

Грань, которую проводил Никитенко между Гоголем-человеком и Гоголем-художником, была совершенно незаконномерной в глазах Чернышевского. Тезису, развитому профессором в одной из его лекций: «Гоголь-поэт и Гоголь-человек — это два различных существа», Чернышевский противопоставил обратный тезис: «Человек един во всех своих проявлениях, во всех сферах своей деятельности».

За этим отвлеченным рассуждением крылась и эмоциональная подоплека.

Еще в детстве, вычитав однажды где-то, что подвиги русских богатырей, трудившихся для общего блага, никем уже не ценятся и забыты, Чернышевский так был расстроен и оскорблен этим доказательством неблагодарности потомства, что не выдержал и расплакался.

Близорукое осуждение великих людей и теперь продолжало больно задевать за живое его юношески пылкую веру в них, потому-то он и начинал всякий раз страстно и резко спорить с самоуверенным Терсинским, когда тот пренебрежительно говорил о таких людях, как Лермонтов, Байрон или Гоголь.

Вот и Никитенко толкует студентам о так называемом лицемерии Гоголя, проявившимся в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Разумеется, Чернышевский понимал разницу между рассуждениями Терсинского и Никитенки, но и ему он не мог простить осуждения своего кумира, создавшего «Мертвые души». Однако самый спор с профессором он повел не по поводу Гоголя, а, так сказать, косвенно,

то есть как бы сопоставляя мнимый эгоизм Гёте с мнимым лицемерием Гоголя.

Заурядность не хочет понять, что все помыслы таких людей, как Гёте, обращены не на свои частные интересы, а на общие предметы и что, скажем, любовь его к женщине имела решительно не тот характер, какой носит любовь обыкновенных людей.

На примере нескольких эпизодов из жизни Гёте, в центре которых Чернышевский поставил любовь поэта к Лили, он хотел показать, что вся натура человека выражается вполне в каждом его поступке, что человек всегда и везде, в продолжение всей своей жизни и во всех действиях своих решительно одинаков и что нет в нем противоположных свойств.

Защита этой мысли как-то трудно давалась Чернышевскому, он чувствовал, что еще недостаточно гибко и диалектически разрешает вопрос о единстве противоположностей.

Порою он начинал даже сомневаться в правоте своего мнения — может быть, и в самом деле оно слишком односторонне, априорно и трудно приложимо к действительности, которая часто противоречит этому принципу и опровергает его?

Обдумывая это, он чистосердечно сознавался себе, что не знает, как, например, согласовать платонически благоговейное увлечение Надеждой Егоровной с иными своими помыслами, перед которыми померкли бы и признания Руссо в его «Исповеди».

Статья Чернышевского о Гёте в печати не появлялась. Основные положения ее можно восстановить по отдельным штрихам и замечаниям в дневниках автора. Именно эту статью и следует, пожалуй, считать началом его литературной деятельности, хотя какие-то неудавшиеся попытки напечататься в «Отечественных записках» Краевского Чернышевский, кажется, делал и незадолго до того, как начал писать этот очерк, посвященный автобиографии Гёте. Потом он несколько раз возвращался к нему, пытался основательно расширить и придать ему беллетристическую форму, выделив историю любви Гёте к Лили в большую повесть, названную им «Понимание».

Но как только в 1849 году в «Современнике» стали появляться переведенные на русский язык отрывки из «Поэзии и правды», он вовсе оставил свой замысел.

Звонок... Никитенко прервал Чернышевского, пожалуй, на самом интересном месте, на середине повести о любви Гёте к Лили.

Профессор поощрительно отозвался о характеристиках родителей Гёте, но тут же заторопился и, то ли по рассеянности, то ли намеренно, умолчал о том, что продолжение работы будет дочитано в следующий раз, да и во время чтения он неоднократно перебивал Чернышевского, вовлекая его в спор своими замечаниями, уводившими в сторону от темы.

С нетерпением ждал потом Чернышевский следующей «педагогической» лекции, но был неприятно удивлен, когда через неделю Никитенко, войдя в аудиторию, обратился почему-то не к нему, как надлежало бы, а к Корелкину и к Главинскому:

— Вы будете читать?

— Нет, Чернышевский, — отвечали они, чувствуя некоторую неловкость за профессора.

— Отлично, — сказал Никитенко Чернышевскому, — но я хотел тоже ныне говорить о критике. Извольте начинать, или начну я, как угодно.

Чернышевский поднял потупленный взгляд:

— Если вам угодно говорить, то я буду после читать, потому что ныне я, верно, не успею кончить...

Беседа Никитенки о критике длилась до самого звонка. Увлечшись своим красноречием, он все говорил, говорил, а в это время самолюбие настойчиво нащипывало Чернышевскому, что, должно быть, Никитенко не захотел слушать его статью потому, что скучным показалось то, первое выступление, и теперь, может быть, статья так и останется недочитанной...

Глава тридцать первая

Прошло около месяца с тех пор, как Чернышевский впервые читал у Никитенки «Об эгоизме Гёте». Он почти потерял надежду дочитать свою работу потому, что пошли исторические темы, но, отправляясь на лекции, все-таки постоянно брал с собою на всякий случай тетрадь, в которой была переписана статья.

И вот, наконец, уже в конце ноября Никитенко довольно неожиданно вспомнил о ней и выразил желание ознакомиться с ее окончанием.

Едва успел Чернышевский прочитать две страницы, как незаметно для себя был опять вовлечен Никитенкой в полемику. К концу лекции чтение еще раз было прервано появлением в аудитории попечителя, затеявшего с Никитенкой разговор о переведенной Жуковским «Одиссее».

Только что изданный перевод этот был тогда у всех на устах. Толки о нем далеко отклонялись от самого предмета.

Защитники старины воспринимали древнюю поэму как величавый и горький упрек беспокойно мятущемуся современному веку.

Облокотившись на стол и закрыв руками старчески дряблое лицо, попечитель выслушал заключительную часть статьи Чернышевского. Он ничего не сказал о ней, но, уходя после звонка, снова посоветовал Никитенке заняться со студентами разбором перевода «Одиссеи».

— Это будет благотворно, весьма благотворно, повторял он, направляясь к дверям.

Внизу, в шинельной, когда Чернышевский одевался, к нему вдруг быстро подошел высокий незнакомый ему молодой человек в широкой шляпе и в альмавиве.

— Вы, кажется, читали у Никитенки?

— Я.

— Так вас сильно интересует разгадка характера Гёте?

— Да, конечно, сильно.

— Ну, так это сделано уже в науке.

— Вы разумеете Гегеля, сумевшего обрисовать характер поэта в десяти строках о его мраморном бюсте?

— Нет, Фурье, который нашел гамму страстей, двенадцать первоначальных и их сложение, которое составляет основу всякого характера.

Молодой человек назвался Ханыковым. Оказалось, что он петербуржец, бывший студент восточного факультета, уволенный в прошлом году за неблагонадежное поведение. Ему было около двадцати четырех лет, но выглядел он несколько моложе.

Нервно кутаясь в широкий плащ, пошел он рядом с Чернышевским по Невскому, продолжая рассказывать ему о законах гармонического развития коренных человеческих стремлений или страстей, как их называет Фурье. Дойдя до Фонтанки, произвольно повернули

они обратно, и опять всю дорогу он не переставал горячо и убежденно говорить о Шарле Фурье, о всеобщем единстве, о фаланстерах...

Чернышевский молча слушал его с неослабевающим вниманием. Все, о чем говорил Ханыков, было ново и незнакомо ему. Странно как-то звучали слова: фаланга, сериарная организация работ, ассоциация, фаланстер.

Первоначально ему показалось, что Ханыков говорит слишком порывисто и сумбурно.

«Уж не бестолковость ли это чересчур ревностного прозелита?» — подумал он, но потом упрекнул себя за предвзятость и поспешность своего заключения. В словах Ханыкова дышала такая вера в правоту идей его учителя, призванного преобразить планету и человечество, живущее на ней!..

Он рассказал Чернышевскому о жизни французского мыслителя. Рассказал о том, как в молодые годы, в бытность приказчиком в одном из приморских городов, Фурье был поражен однажды тем, что на его глазах выбросили в море большой груз корицы, с целью поднять ее цену. Тогда-то и родилось у Фурье стремление посвятить свою жизнь полному преобразованию общества.

— Не через отвлеченности пришел он к своему учению. Внимательно присматриваясь к условиям земледелия, понял он, что залог всеобщего благоденствия в том, чтобы выгоды всех были между собою тесно связаны, то есть в ассоциации. Но при попытке осуществить ее он увидел, что даже два-три семейства не могли никак ужиться вместе. Тогда принялся он исследовать формы общественного устройства и пылливо изучать природу извечных человеческих наклонностей. Решась на этот великий труд, он взял в руководители себе недоверие ко всему, что сделали до него. Все подверг он своему критическому анализу, вскрыл противоречия и нелепости, тысячелетиями существовавшие в явлениях общественной жизни, и нашел законы, по которым могут быть правильно развиты, применены и направлены все способности человека, то есть коренные стремления его духа и тела, приводящие в движение все существо его. Он называет их страстями, придавая, как видите, этому слову не то значение, в котором обычно его принимают.

Фурье насчитывает их двенадцать. Пять — материальных, четыре — общественных и три — распределяющих...

«Подозрительно, почему двенадцать?.. — подумал Чернышевский. Он испытывал двойственное чувство пробуждавшегося интереса и недоверия. — Число слишком подозрительно, как бы не из природы найденное, а искусственно подобранное для двенадцати звуков в музыкальной гамме... Но в основе учения есть нечто истинное.. Унитаризм — стремление к единству. Гармония страстей...»

Ханыков продолжал растолковывать ему, как Фурье пришел к мысли о фаланстере, о сериарном распределении занятий. И, может быть, в этот ноябрьский день, на Невском проспекте, перед будущим автором снов Веры Павловны, в которых он хотел поднять завесу над «тайнами будущего» и показать картину радостной жизни освобожденного человечества, может быть, еще в этот ноябрьский день впервые мелькнули перед ним смутные образы вечной весны и вечного лета на свободной земле счастливого труда.

— И это не мечта!.. не утопия!.. — восклицал Ханыков. — Прочтите об этом в его *Théorie de l'unité universelle*, там все это доказано математически. Прочтите, и вы согласитесь, что самый последний из работников фаланстера будет счастливее сильнейшего из владык.

Идеи Фурье — это целый мир, заключающий в себе несметные богатства. Что будет, спрашиваю я вас, если мы разработаем весь этот рудник? Невежество и косность большинства всегда противятся новым идеям. Но можно ли бояться этого? Он был не понят и не оценен на родине. Но слова его не потеряны для мира.. И здесь, во льдах севера, есть люди, которые понимают единство, связь, солидарность, свободу, стройный прогресс, непрерывное счастье.

Отечество наше в цепях, отечество в рабстве... Деспотизм и невежество заглушили его натуральные влечения, но преобразование близко...

Они остановились на углу Конюшенной. Ханыков стал говорить о народной вольнице, о Великом Новгороде.

— Надо восполнить пробел в системе Фурье. Увлечись ею, он пренебрег историческими преданиями, а ес-

ли касался их, то бегло и поверхностно. Надо заняться разбором русской истории, найти в ней авторитет народный.

Существенный характер нашего века заключается в стремлении разума, отказавшегося пребывать в чистой отвлеченности и нашедшего в своих отвлеченных сферах равновесие сил, проявиться на практике с той независимостью и свободой, какие свойственны всякой философии, не терпящей официального ярма, проявиться мощно, сильно, как некогда он проявлялся, влияя на людей в отдельности и на целое общество...

Прощаясь, Ханыков сказал:

— Если хотите, я дам вам Фурье. Я живу в доме Мельцера в «Кирочной». Приходите в субботу вечером. Буду ждать вас.

Глава тридцать вторая

Ханыков не случайно упомянул о льдах севера. Он был одним из самых ревностных миссионеров и пылких «пропагандаторов» учения фурьеристов, распространявшегося кружком его лучшего друга Петрашевского. В марте 1848 года дошло до сведения властей, что «титularный советник Буташевич-Петрашевский, проживающий в Петербурге в собственном доме», обнаруживает «большую склонность к коммунизму и с дерзостью провозглашает свои правила», что он, «имея большой круг знакомства, около 800 человек, составил с некоторыми обществом и к нему постоянно в назначенный для приема вечер, по пятницам, собиралось от пятнадцати до тридцати разных лиц, гражданских и военных, одинаковых с ним мыслей; что они, оставаясь от трех и до четырех часов за полночь, в карты не играли, а читали, говорили и спорили».

Петрашевский и его друзья начали действовать еще в 1845 году. На первых порах дело ограничилось устройством коллективной библиотеки и выписыванием через петербургского книготорговца Лури запрещенных иностранных изданий. Постепенно библиотека стала «главной заманкою посещать Петрашевского».

Пошли вечера по пятницам, сначала немногочисленные и носившие «ученый» характер. К Петрашевскому приходили побеседовать о новых книгах его знакомые штат-

ские и военные, молодые офицеры и юнкера, учителя и студенты.

Гостеприимный хозяин уже в ту пору был страстным поклонником учения Фурье, обаяние доктрины которого он и старался раскрывать в беседах со своими посетителями.

Неустанно деятельный, много потрудившийся над самовоспитанием, Петрашевский был человеком сильной души и большой воли.

Будучи прирожденным агитатором и отличаясь кипучей энергией, он всюду завязывал знакомства, ища возможности шире распространить заветные мысли своего учителя.

Среди посещавших его в 1845—1846 годах были поэт Плещеев, публицист Миллютин, критик Майков, будущий автор «России и Европы» Данилевский, Салтыков-Щедрин, гвардейский офицер Момбелли, студент Ханьков... В следующую зиму стали бывать Ф. Достоевский, А. Майков, Энгельсон и другие. Знакомые Петрашевского приводили к нему своих приятелей, появлялись все новые и новые лица, собрания становились оживленнее и разнообразнее.

Велись теоретические споры о фурьеризме и коммунизме, читались рефераты о политической экономии, о семье и религии, толковали о крепостном праве, о гласности судопроизводства, о свободе печатного слова, о городских новостях и мерах правительства. Обсуждая прочитанное, говорили, горячась, перебивая друг друга, отвлекаясь посторонними темами.

При всем разномыслии петрашевцев, при всей пестроте состава посетителей его пятниц, все же роднило их всех и как-то соединяло до времени общее недовольство существующим порядком вещей, желание перемен и улучшений в России.

Система Фурье, по признанию обращенных в его веру петрашевцев, таила какую-то необычайно притягательную силу, которую одинаково испытывали на себе люди, совершенно различные по складу характеров и строю мыслей. Недаром Петрашевский сознавался, что он как бы заново родился, прочитав впервые сочинения Фурье. «Будь я не христианин, а язычник, я б разбил всех моих других богов... сделал бы его единым моим божеством...»

«Было время,—вспоминал Ахшарумов,— когда я весь отдался мысли «о счастье человека»... «бредил Фаланстером, этим счастливым огромным зданием, окруженным садами, полями, рощами, в котором 800 семейств живут в богатстве и в весельи; мне снился он во сне, для него без разбора готов я был употребить все средства».

С затаенным волнением отступника Достоевский вспоминал, по прошествии почти четверти века со дня своего ареста и ссылки, о неотразимом влиянии социальных утопий на умы и сердца своих ровесников.

Воспитывавшееся в беспросветной ночи николаевского царствования, страдавшее, по словам Герцена, видовым болезненным надломом по всем суставам, поколение это словно бы успокаивало свои растравленные раны мечтами о грядущем общечеловеческом счастье.

Портрет одного из петрашевцев в «Былом и думах» начинается с общей характеристики самого типа петрашевцев: «Он был для меня тогда довольно нов. В начале 40-х годов я видел только его зачатки, — пишет Герцен. — Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня, до появления Чернышевского. Это — тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные».

Характеристика эта очень точна. Не мудрено, что последовавшее в 1849 году крушение общества петрашевцев роковым образом отозвалось на душевном состоянии некоторых участников «заговора».

Это был тонкий и слишком хрупкий слой передовой интеллигенции, в умах которой только начинала кристаллизоваться русская социалистическая мысль.

Разрыв между действительностью и утопическими построениями придавал исканиям петрашевцев неестественную напряженность и остроту.

Европейские события 1848 года, всколыхнувшие сознание революционно настроенных интеллигентов, заставили полицию еще более насторожиться.

Свыше года жизнь кружка была предметом пристального наблюдения со стороны правительственных агентов.

Известность и влияние кружка росли на глазах у

полиции, ожидавшей только сигнала, чтобы начать свое дело.

Между тем в среде петрашевцев стали обозначаться расхождения, наметились раскол и раздробление, естественные при отсутствии определенной программы и ясных целей. Одни стали поговаривать о тайном обществе и необходимости более решительных действий для подготовки восстания, других, наоборот, пугала всякая мысль о перевороте. Расслоение стало неизбежным.

Самого Петрашевского уже не удовлетворяли результаты собраний, происходивших у него. В марте 1848 года он жаловался Спешневу, что посетители пятниц «ничего не знают и учиться не хотят... споры ни к чему не ведут, потому что основные понятия спорящих неясны».

Надеясь еще поправить дело прекращением «бес-связного разговора», он предложил, чтобы на вечерах у него «всякий говорил о том, что лучше знает». В свою очередь посетители пятниц стали откровеннее высказывать недовольство направлением этих вечеров, однообразием их и неразборчивостью Петрашевского в выборе гостей.

Летом наступило некоторое затишье в общественной жизни столицы, вызванное разездом многих на дачи, а с осени, когда все опять съехались в город, кружок Петрашевского начал разветвляться и дробиться на ряд обществ.

Знакомство Чернышевского с Ханыковым было, конечно, не случайным. Ханыков, в эту пору раскола оказавшийся в группе «чистых фурьеристов», вербовал будущих сторонников.

Он заметно выделялся в кружке Петрашевского самобытностью и живостью ума, решительностью характера и страстной убежденностью.

Благодаря этому знакомству двадцатилетний Чернышевский непосредственно соприкоснулся с левым крылом революционной интеллигенции конца сороковых годов, приглушенная деятельность которой предшествовала гораздо более бурному и неизмеримо более плодотворному движению шестидесятников, впоследствии им возглавленному.

1848 год был точкой скрещения их путей.

В апреле следующего года, когда Чернышевскому стало известно, что петрашевцы уже находятся в руках

полиции, он писал: «Как легко попасть в историю, — я, например, сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество и со временем, конечно, вмешался бы».

Чернышевский стоял буквально на пороге этого общества. Вступление в него задерживал он сознательно, во-первых, потому, что еще не чувствовал себя достаточно подготовленным. Не в его характере было мириться с пассивной или второстепенной ролью. Затем отношение к родителям, боязнь причинить им беспокойство, тревогу и огорчения во многом определяли его поведение и тогда и даже еще несколько позднее.

Наконец, имело некоторое значение то, что перед Чернышевским стояла прямая и ближайшая задача — успешно завершить университетский курс.

Если бы кружкам петрашевцев суждено было просуществовать хотя бы еще один год, то Чернышевский безусловно разделил бы их участь и очутился бы в крепости, а затем в ссылке на пятнадцать лет раньше. Судьба уберегла его от этого.

Знакомство с Ханьковым не успело в сущности углубиться, окрепнуть и перейти в тесную дружбу, в неразрывную идейную связь.

Ханьков вскорости заболел. Это помешало ему самому принять настоящее участие в кружке «чистых фурьеристов», на собраниях которых он был всего один раз.

Но до этого он уже начал было готовить Чернышевского к вступлению на стезю петрашевцев.

Глава тридцать третья

Он взялся за дело, как всегда, горячо и рьяно. Не дожидаясь условленной субботней встречи с Чернышевским, Ханьков накануне ее явился в университет, разыскивая своего нового знакомого.

Лекции окончились... Он стоял в вестибюле и смотрел на выходящих из шинельной студентов, поджидая, когда покажется Чернышевский..

Шляпа испанского покроя и широкая альмавива, в которую была закутана фигура Ханькова, придавали ему вид заговорщика.

Эта оригинальность в costume была сознательно дерзким вызовом чопорному начальству и полиции, неблагосклонно и подозрительно взиравшим на всякие

эксцентричности в уличном одеянии, как и на ношение длинных волос, бороды и усов. Ничто не должно было нарушать незыблемого ранжира, строгой меры, установленных форм. Но для Петрашевского и некоторых его друзей поправить запрет — значило получить какое-то внутреннее удовлетворение.

Рассказывали, что в самый разгар гонения на бороды и длинные волосы Петрашевский явился на службу в министерство, отрастив себе густую шевелюру с кудрями едва, не до плеч. Напрасно удивленный директор косился на него, пожимая плечами. Он делал вид, что не понимает этих немых внушений. Пренебрег он и дружеским советом остричься, который был дан ему, по поручению директора, одним из сослуживцев. Тогда, выведенный наконец из терпения, директор без обиняков обратился к Петрашевскому с укоризной.

— Я не только исполнил приказание вашего превосходительства, — отвечал Петрашевский, приподнимая на голове парик, — но и обрился...

Рассказывали также, что однажды он пришел в Казанский собор, переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился усердно молящимся. Однако соседи обратили внимание на его, не весьма тщательно скрытую, черную бороду. Бросился им в глаза и весь его странный облик. Через некоторое время подошел к нему квартальный надзиратель и сказал:

— Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина.

Ничуть не смутясь, Петрашевский ответил ему:

— А мне кажется, милостивый государь, что вы переодетая женщина.

С этими словами он скрылся в толпе, воспользовавшись замешательством квартального, и уехал домой...

Стремление оригинальничать, удивлять и поражать окружающих не чуждо было и Ханыкову. Постоянное ношение альмавивы и сомбреро дополнялось у него еще и привычкой всегда таскать с собою старинный пистолет с кремневым курком, что вызывало, кстати сказать, едкие насмешки со стороны хорошо знавшего его Достоевского.

Сейчас Ханыков поджидал Чернышевского, гбря нетерпением поделиться с ним планом, который мелькнул

у него в голове еще в тот день, когда он слушал чтение статьи «Об эгоизме Гёте».

Заметив тогда на лекции, что студенты с особым интересом слушают Чернышевского, Ханыков порешил не откладывать знакомства с ним в долгий ящик. «В ближайшее же время можно будет с помощью Чернышевского воспользоваться этими «педагогическими» лекциями и для наших целей», — рассуждал Ханыков.

Вот он и явился теперь просить Чернышевского, чтобы тот прочитал у Никитенки его, Ханыкова, статью о страстях в учении Фурье.

Одновременно с Ханыковым поджидал в вестибюле Николая Гавриловича и Лободовский, который после долгого перерыва стал снова посещать лекции.

Из университета они возвращались обычно вместе, ведя по дороге дружеские беседы. Впрочем, если шли они даже молча или перекидывались скупыми фразами, все равно Лободовскому, удрученному неудачами, всегда становилось легче на душе в присутствии верного друга, который разделял все его огорчения и привык понимать его с полуслова.

В этот день Лободовский с нетерпением ждал окончания лекций, чтобы отправиться вместе с Чернышевским домой. Ему хотелось откровенно поговорить с ним о своих делах. Он стал замечать за последнее время, что Николай Гаврилович как-то начинает отходить от него, что дружба их незаметно слабеет. Правда, видимых признаков этого он не мог бы указать, но остро почувствовал с некоторых пор, что рано или поздно серьезная и глубокая дружба их неизбежно кончится охлаждением. Пускай это случится не теперь, а через год или даже через два, но все равно случится.

Попрежнему с исключительным участием выслушивает Чернышевский его сетования на судьбу и попрежнему терпеливо готов лишиться многого ради него. Все это так, но изредка словно какая-то незримая черта вдруг отделяла их на короткое время, и тогда Лободовский, желая тотчас восстановить безраздельный интерес к себе, прибегал даже и к искусственным приемам: то он рисовал другу свое состояние чернее, чем следовало бы, то осторожно, но внушительно льстил ему, зная, как высоко Чернышевский ценит его мнение о людях.

В глубине души Лободовский смутно сознавал, может быть, что неизбежность угасания их дружбы предопределена тем, что младший друг его начинает все быстрее расти и развиваться, тогда как сам он постепенно застывает, и в будущем ему будет все трудней и трудней удерживать Чернышевского рядом с собой.

При выходе из шинельной Чернышевский сразу заметил Ханыкова и направился к нему, чтобы поздороваться и сказать ему несколько слов.

Мысленно он не раз возвращался в эти два дня к первой их встрече и к предстоящему завтра свиданию на дому у Ханыкова. Да, он думал об этом вчера, укладываясь спать, думал и сегодня утром, проснувшись и вспомнив вычерченную линию Невского, альмавиву, восторженно-сбивчивую речь Ханыкова... «Что-то будет из этого знакомства... Рассохнется ли оно или превратится в обращение меня в фурьериста? Что-то Бог даст?»

Даже в беглой передаче Ханыкова общие мысли Фурье заинтересовали Николая Гавриловича, хотя он с присущей ему проницательностью сразу понял, что большею частью — это мечты. Но и в этих стремлениях фантазии почувствовал он некое отражение здоровой, истинной потребности полного наслаждения действительной жизнью. Конечно, легко выставить в утрированном виде преувеличения и мечты, но ведь их не избегает вначале ни одна новая наука. Под видимыми странностями, под фантастическими увлечениями тут кроется, может быть, ядро глубокой и благодетельной истины...

Его тронули вера и убежденность автора «Теории четырех движений», который тридцать лет, среди лишений и бедности, вынашивал в голове план переустройства человеческого общества и изо дня в день проходил по парижским улицам к одному дому, в котором он ожидал в определенный, обусловленный час кандидата, т. е. того, кто согласился бы принести ему миллион для испытания на деле его учения...

В этом было что-то общее с изобретением вечного двигателя, о котором Чернышевский опять стал чаще подумывать за последнее время...

Быть в субботу у Ханыкова он твердо решил еще в тот раз, когда они прощались на углу Конюшенной. Он даже заказал себе в тот же день новые брюки, потому что не хотелось являться в первый раз в потертом костю-

ме. Третий день подряд он заходит к портному, торопя его приготовить обновку к субботе...

Они поздоровались, и Ханьков, удерживая его руку в своей, сразу быстро повлек его к выходу, так что Чернышевский едва успел обернуться и взглядом позвать Лободовского присоединиться к ним. Что-то похожее на ревность кольнуло Лободовского в самое сердце, и он в нерешительности пошел на некотором расстоянии сзади, не зная, как ему поступить...

«Почему этот незнакомый юноша в чудном облачении так поспешно увел Чернышевского и о чем они разговаривают сейчас..?» — размышлял одиноко шагавший в стороне Василий Петрович, в то время как Ханьков, то останавливаясь на секунду, то снова убыстряя шаг, посвящал Чернышевского в свой замысел.

— Я хочу просить вас, Николай Гаврилович, прочитать на ближайшей лекции у Никитенки либо небольшую мою статью о Фурье, либо — что будет, может быть, еще лучше — какой-нибудь отрывок из его сочинений.

Его мало знают, потому что сочинения его у нас не переводились. А переводить их давно пора, потому что судят о нем понаслышке и предубежденно. Смеются над его несбыточными утопиями, а изучать основательно и беспристрастно не считают нужным. Согласны ли вы? Я рад, что согласны... Вот мы и положим начало. Вы помните, что завтра я жду вас... Мы обсудим — мою ли статью следует прочитать вам или сделать перевод из Фурье... Французским вы владеете? Я дам вам «*Phalange Journal de la Science Sociale*», издававшийся фурьеристами. Там есть замечательные статьи. В частности и о характерах. Впрочем, вы сами увидите. Это будет как бы развитием той темы, которую вы затронули в статье о Гёте. А Никитенко, мне кажется, поймет. Ведь Александр Васильевич не обскурант, как иные. Не правда ли?

— Я охотно исполню вашу просьбу, тем более, что и мне это представляется интересным, хотя я не знаком еще с сочинениями самого Фурье, а лишь надеюсь узнать их ближе с вашей помощью. Языком я владею в той мере, какая необходима для перевода, и думаю, что успею перевести. Завтра я буду у вас.

Сказал это Чернышевский мягким и тихим голосом, каким он всегда говорил с людьми ему приятными.

Затем он обернулся, поглядел по сторонам, ища глазами Василия Петровича, но его уже не было.

Простившись с Ханьковым на Адмиралтейском бульваре, Чернышевский поспешил на Гороховую, надеясь догнать Лободовского. Он чувствовал, что Василию Петровичу хотелось сказать ему что-то важное. Хорошо бы догнать его...

На углу Гороховой он узнал знакомую плотную фигуру своего друга. Лободовский шел медленно, заложив руки в карманы и опустив голову...

— Что это за человек? — коротко и как-то недружелюбно спросил Лободовский, когда, поровнявшись, они пошли рядом.

Чернышевский рассказал то немногое, что сам знал о Ханькове, добавив, что это умный и, повидимому, знающий, милый и дельный человек с горячим сердцем и неподкупной совестью.

Лободовский промолчал, не желая сразу обнаруживать своего неодобрительного отношения к этому новому знакомству, хотя мысленно уже окрестил Ханькова «арлекином».

До поздних сумерек бродили они в тот вечер, провожая друг друга, и все никак не могли расстаться, не могли наговориться вдоволь...

Глава тридцать четвертая

«Застенчивого Славинского я заставляю держаться передо мною, как ученика, а вот с Ханьковым сам держусь, как послушник перед аввою», — думал Чернышевский, сидя в гостях у Ханькова.

В продолжение всего вечера Ханьков толковал ему о том, как далеко шагнула на Западе философская мысль после Гегеля. Сначала разговор коснулся «Теории четырех движений и всеобщих судеб», на которую Ханьков смотрел буквально, как на евангелие, веря каждому слову и каждой букве этой книги, раскрывающей смену четырех фаз и тридцати двух периодов развития человеческого рода на протяжении восьмидесяти тысячелетий от Восходящей Разобщенности к девяти периодам Восходящей Гармонии, к рождению Северного Венца, к тысячелетиям Апогея Счастья и далее к Закату и угаса-

нию Венца, к дряхлости земного шара, наконец, к падению его и распаду во Млечном пути.

Ханыков был весь во власти этих смелых космогонических мечтаний, причудливых образов, поразительных прозрений, прорывающихся среди нагромождения странных видений, бессмыслиц и экстравагантностей.

Потом от Фурье он перешел к Фейербаху, имя которого еще ничего не говорило Чернышевскому, и рассказал ему в общих чертах о «Сущности христианства».

— Дайте срок, я достану вам эту книгу, — сказал Ханыков, — но с вас я беру слово, что вы непременно ее тогда прочитаете.

Нападки на религию, проскользнувшие в словах Ханыкова, покоробили, смутили и обеспокоили Чернышевского, однако он смолчал и уклонился от спора с пылким Ханыковым.

Это нежелание противоречить ему он тотчас приписал в душе обычной своей уступчивости и уклончивости, но дело заключалось не только в этом. Религиозное мировоззрение Чернышевского было уже надломлено. Он продолжал молиться, соблюдал посты, ходил в церковь, но замечал сам, что делает это не столько по внутреннему побуждению (как прежде), сколько по непреодоленной еще силе привычки.

Много раз вставали перед ним сомнения всякого рода, однако решающего шага к расставанию с верой он не сделал и удерживал себя от этого шага, втайне зная, что обратного пути для него уже не будет.

Не мудрено, что Чернышевский порадовался, убедившись потом, в процессе чтения Фурье, что последний «не опасен» для его христианских взглядов, и без того пошатнувшихся. «Жаль, очень жаль было бы мне расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил душе своей личностью, благой и любящей человечество, и так вливает в душу мир, когда подумаешь о нем».

Многое давно нарушало, коверкало этот мир и еще туже затягивало узлы противоречий, узлы, которые он неизбежно должен будет рано или поздно разрубить, ибо то новое, что надвигалось на него, — он видел и признавал это, — не мир несло с собою, а «ввергало меч между отца и сына, между мужа и жены».

В минуты сомнений он с горечью думал о том, что

религию превращают в средство защиты неправого дела. Тогда он становился на сторону «отступников», стремясь понять и мысленно оправдать их перед обвинителями: «Чудаки — они думают, если человек в негодовании говорит: «Я не верую, люди подлы и глупы», так это в самом деле потому, что он менее их ударен душою, жаждущей верить, любящей человека, а не потому, что, напротив, у него эти силы жаднее ищут удовлетворения и что горше для него несообразность действительного с разумным».

И все же, по правде говоря, он был отчасти даже рад тому, что чтение «Сущности христианства» отодвигается в неопределенное будущее, когда Ханыков сумеет раздобыть для него эту книгу. Он уже смутно и опасливо чувствовал взрывчатую силу ее содержания.

«А что, если мы в самом деле живем во время Цицерона и Цезаря, когда *saeculorum novus nascitur ordo*¹ и явился новый мессия и новая религия и новый мир? У меня, робкого, волнуется при этом сердце и дрожит душа, и хотел бы сохранения прежнего — слабость? глупость? Что угодно богу, то да будет. Если это откровение — последнее откровение, пусть будет так; если должно быть новое откровение, да будет оно, и что за дело до волнений душ слабых, таких как моя».

Возвращался он от Ханыкова, неся подмышкой кипу журналов: «Phalange», «Paris révolutionnaire» за старые годы и «Теорию всеобщего единства» Фурье.

В душе шевелилось чувство легкой гордости, что ему доверены запретные журналы. Было решено, что он переведет для опыта из «Phalange» статью о характерах, как наиболее невинную, наиболее подходящую к случаю, и прочитает ее на первой же лекции у Никитенки.

При прощании они условились с Ханыковым, что через три дня, перед началом лекции, они встретятся у Исаакиевского моста.

Накануне, придя в университет после урока у Ворониных, Чернышевский прошел наверх, в пустовавшую аудиторию, и, усевшись в самой глубине ее, на последней скамье, развернул «Phalange» и принялся торопливо переводить намеченную статью. Если кто-нибудь из товарищей вздумает заглянуть сюда, он успеет припрятать

¹ Рождается новый порядок вещей.

журнал. Аудитория эта служила обычно местом, куда студенты заходили подготовиться к лекции, поговорить. Именно здесь, в этой аудитории, не раз Чернышевский вел разговоры с Лободовским о будущей революции в России.

Ему оставалось перевести лишь несколько страниц, когда раздался звонок, возвестивший о начале лекций. Спускаясь по лестнице, он догнал медленно шествовавшего Никитенку. Поровнявшись с ним и поздоровавшись, замедлил шаг, выжидая — не заговорит ли профессор. А когда Никитенко обратился к нему, Чернышевский, отвечая, искусно ввернул, что вот он перевел статью о характерах, которую хотел бы, если, конечно, господин профессор позволит, прочитать на одной из педагогических лекций.

Усмешка скользнула на упрямых и умных губах Никитенки:

— Так вы еще не успокаиваетесь, — сказал он, припоминая свой спор с Чернышевским о характерах Гоголя и Гёте. — А я вот уже успокоился...

Вставши на следующий день пораньше, Чернышевский закончил перевод, аккуратно переписал его и в условленный час уже подходил к Исаакиевскому мосту.

Взятая на себя миссия начинала немного тяготить его. Как-то все это будет принято? Переведенная статья трактовала о древе страстей и его разветвлениях. Все в ней противоречило распространенным и привычным взглядам на семью, дружбу, любовь.

Поймут ли ее так, как надлежит?

Он шагал по непротоптанному снегу, резкий ветер, бивший прямо в лицо, леденил щеки и котлол глаза, заставляя наклонять голову и отворачиваться.

Перейдя мост, еще издали увидел он спешившего навстречу ему Ханыкова.

— Ну как обстоит дело с переводом?

— Я перевел и надеюсь прочитать. Мне думается, что хорошо, если бы и вы были на лекции.

Ханыков согласился.

Расчет Чернышевского был прост: как только все займут места и войдет Никитенко (который должен был принести в этот день новые темы), встать и попросить позволения прочитать во второй половине лекции

статью. Тогда Никитенко волей-неволей сократит свою речь о новых темах.

Но профессор появился неожиданно быстро, когда студенты еще толпились у входа в аудиторию. Произошло небольшое замешательство, все спешили занять места. Не дожидаясь, пока слушатели рассядутся, он начал лекцию.

Момент был упущен, и Чернышевскому не оставалось ничего другого, как разложить перед собой листы и всем своим нетерпеливым видом показывать, что он желает все-таки прочитать статью. Может быть, Никитенко, чорт возьми, заметит это и кончит скорее. Но через полчаса надежда эта улетучилась, как дым. Не слушая гладко льющуюся речь Никитенки, недовольный, нахмуренный Чернышевский с сожалением посматривал на Ханькова, как бы говоря ему: «Вините оратора: и рад бы услужить вам, да ничего не поделаешь».

Через неделю, на следующей лекции, Никитенко все же предложил Чернышевскому прочитать переведенную из «Фаланги» статью. Но слушателей почти никого не было. Ханьков не явился, не пришел и Василий Петрович, в аудитории было пусто и скучно. Чернышевский читал без всякого подъема, чувствуя, что его окружает непроницаемая атмосфера непонимания. Время от времени он ловил на себе недоумевающие взгляды удивленного Никитенки, которому статья показалась вздорной, неосновательной, странной какой-то. Наконец профессор не выдержал и напрямик высказал это. Неудача произвела тягостное впечатление на Чернышевского, он растерялся и не стал особенно спорить с Никитенкой. Кое в чем поддакивал ему, чтобы только закончить скорее, закончить и предать забвению этот печальный опыт.

Чернышевский чувствовал, что авторитет его среди товарищей растет и укрепляется. Случайно ему стали известны некоторые их отзывы о нем. «Это человек необыкновенно скромный, — сказал один из студентов Лободовскому, — он знает более всех наших профессоров, но не хочет это показать». Особенно возвысилось мнение студентов о Чернышевском с тех пор, как он стал деятельно участвовать в беседах на лекциях Никитенки.

«Удивил нас Чернышевский», — рассказывал Залеман,

называя его притворщиком, который и виду не показывал, что столько знает и так свободно может обо всем судить. Вскоре после того, как Чернышевский прочитал у Никитенки «Об эгоизме Гёте», подошел к нему на перемене однокурсник Троянский и попросил объяснить ему замысел «Фауста». С обычной своей готовностью делиться знаниями Чернышевский, позабыв о лекции, просидел с ним в свободной аудитории часа полтора, стараясь раскрыть ему сложную символику трагедии Гёте.

Глава тридцать пятая

Все чаще затевал теперь Василий Петрович разговоры о том, что хорошо бы кого-нибудь убить, ограбить, а там... хоть в Сибирь... И в тоне его вместе с горькой шутливостью проскальзывало иногда настоящее озлобление на судьбу, доведшую его до такого состояния.

— И чего я только не делал,—говорил он,—чего только не делал, чтобы выпутаться из этого положения, — все попусту. Видно, нехватает ума практического, опытности недостает. Не могу, вижу, что все бесполезно.

Одно время он даже стал заметно реже бывать у Чернышевского и приходил не надолго. Посидит, посидит молча, потом встанет, начнет прощаться.

— Куда вы так рано? Зачем?

— Да она теперь, я знаю, плачет. Мне ее жаль. Я знаю, что ей тяжело, очень тяжело, хоть ни слова об этом она не говорит. При других обстоятельствах бросил бы все, ушел бы куда глаза глядят, и кончено... а теперь вот нет... Ах, если б была она единственной дочерью у отца или если б мог я оставить ей много денег!

Говорилось все это вполголоса, а то и вовсе шепотом, чтобы не долетало до Терсинских ни слова.

Порою неожиданно являлся он к Чернышевскому притворно веселым, начнут они потешаться над профессорами, смеются... Вдруг Лободовский круто оборвет шутки, словно вспомнив о чем-то:

— Пойдем. Проводите меня.

— Посидите.

— Нет, идем...

А дорогой опять за старое... Только свернули от Введенской церкви к мосту, Лободовский, оглянувшись, сказал:

— Право, если найдет тяжелая минута, узнаю, у кого тысяча рублей в кармане,—убью и ограблю. Половину — Наде, половину — домой, а сам в Сибирь.

— Нет, это чрезвычайно нехорошо.

— Пустое.

— Вы не один. Подумайте о ней!

— Что же? Имени своего все равно не скажу. Будут бить—ничего...

— А что станется с нею? Ну, хорошо, отец возьмет ее к себе, деньги отнимет, и будет она жить у него, как работница. Да если и не отнимет... Что такое пятьсот рублей серебром? На два года, а после что? Нет, вы гораздо лучше сделали бы... — тут Чернышевский замаялся, так и не решаясь выговорить то, о чем подумал в ту минуту: «Лучше бы уж обесчестил и бросил».

Еще более коробило Чернышевского, когда разговоры об ограблениях, хотя бы и в шутку, начинались в присутствии Надежды Егоровны.

Вот он стоит у зеркала в их бедной комнатке, — и в зеркале видна ему у двери в прихожую белокурая, голубоглазая Надежда Егоровна, играющая с котенком. Василий Петрович хлопчет над самоваром.

— Надя, а Надя, кабы нашел я десять тысяч вместе с Николаем Гавриловичем, уходил бы его!..

— А я—так разделила бы...

— Нет, ты бы позвала его к нам сюда делить, а я уходил бы его.

— Как это можно! Я бы кричать стала.

— Да ведь пропал бы тогда Василий Петрович,—вмешался Чернышевский.

— Нужды нет. Зачем хотел убить? Я не могу видеть, как кошка или собака страдает, а не то что человек...

Прежде Надежда Егоровна никогда не заикалась при Чернышевском о бедности. Но вот и она тоже стала толковать о деньгах. Верно, слишком уж невоготу. И тесно им, и тяжело, и грустно. Нет у них доходов и нечем жить.

— Лучше уж умереть, чем жить в этой зале,—сорвалось как-то у нее.

— А ты поди укради у Шереметева десять тысяч. Тебя пустят. Ты скажи, что тебе нужно к нему—женский пол пускают.

«Как бы сводник,—подумалось Чернышевскому.—Вот до чего доводит бедность даже благородных людей... Он говорит об убийствах при ней. «Того-то убил бы» и прочее... Нехорошо!... Однако уж не знаю, нехорошо ли?»

Глава тридцать шестая

Неотступные заботы о денежных делах друга начинали все больше стеснять Чернышевского и часто ставили его самого в крайне затруднительное положение. Так повелось, что в иные месяцы не часть, не половина даже, а буквально почти все из того, что приносил ему урок в богатой семье Ворониных, да плюс еще из того, что присылал отец, передавалось без малейших колебаний Василию Петровичу.

Между тем надо было и самому справиться кое-что из одежды—она изрядно поизносилась, приобрести калоши—близилось ненастье, сентябрь был на исходе. Одним словом, на многое недоставало самому.

Он с раздражением тащился по дождю из университета в теплой шинели, которая как-то связывала ему ноги и которую следовало поддерживать.

Заглядывая почти каждодневно ради чтения газет в кондитерские к Вольфу или к Излеру, он не решался заказать иной раз лишнюю чашку кофе со сливками, а если и брал кофе, то пил его медленно и не с пирожным, как другие, а со своим пятикопеечным калачом, стараясь, чтобы никто этого не заметил. Да, наконец, ему было неловко и перед Терсинскими, которым очень много задолжал.

Время от времени он тешил себя надеждой, что недалек все-таки тот день, когда друг его станет на ноги. Надежда эта возникала всякий раз, как только Лободовский начинал усердные поиски места, кончавшиеся, впрочем, всегда неудачно.

Летом Василий Петрович рассчитывал занять освободившееся в одном училище место преподавателя истории, но кто-то опередил его.

Через месяц у Чернышевского возник план: как только возобновится урок у Ворониных, передать его Лободовскому. Чернышевский так и приготовился заявить там: «Я бы хотел, чтобы вместо меня пригласили одного человека, который, смею вас уверить, в миллион раз лучше меня».

Опасаясь, однако, что Лободовский воспротивится, не захочет этой жертвы, он решил обмануть его: сказать, что бросает урок потому, что слишком много времени тратит на это и что вообще не сумел поставить себя там должным образом.

Так подготавливал он с двух сторон передачу урока и уже направил было Лободовского для переговоров к отцу своих учеников, занимавшему в столице видное положение, но разговор не состоялся.

В первый раз, когда Лободовский явился к Ворониным, ему сказали, что обедают, во второй раз передали, что он ушел гулять. Стало ясно, что в семье вовсе не склонны менять ментора по рекомендации Чернышевского.

Снова все сорвалось! А ведь он даже перекрестил Василия Петровича вслед, когда тот направился от него к Ворониным.

Потом обещали Василию Петровичу похлопотать где-то о месте письмоводителя с хорошим жалованием, с наградными, но, должно быть, и тут кто-то опередил его.

Одно время казалось, что вот-вот выгорит дело в Управе благочиния, где требовался переводчик. И ходатай нашелся через знакомых, и уже предложили Лободовскому на пробу перевести по несколько строк с немецкого и с французского. Вместе с Чернышевским тщательно перевели они начало статьи из немецкой энциклопедии и небольшой отрывок из французского гражданского кодекса. И опять попусту.

Василий Петрович так был угнетен неудачами, следовавшими одна за другой, что однажды не стерпел и признался Чернышевскому:

— Чорт знает, я трус, — сказал он, — да, трус: вчера мчалась бешеная тройка, только поставить бы ногу и тотчас же в одну минуту был бы измят... и без шуму; и думал ведь, но просто струсил, а между тем тут-то и можно было не струсить, потому что времени сообразить не было — одна лишь минута.

Глава тридцать седьмая

Оглушающе горько был поражен Чернышевский, услыхав от Василия Петровича, что у него начинается чахотка.

«Как же это? Что станется с Надеждой Егоровной, когда он умрет? Конечно, должно будет поддерживать ее, может быть, даже жениться на ней... В самом целомудренном духе, конечно, в самом кротком и грустном».

И в голове у него сейчас же возник целый роман.

Человек, какие редко встречаются в жизни, умирает преждевременно. У него остается жена и друг, который любил его, как никого на свете. Остается она без средств, без всякой помощи.

Перейти к отцу было бы для нее мучением, потому что пошлый он, корыстный и недобрый человек. (Тут вспомнилось Чернышевскому сиротски безрадостное существование Клиентовой в доме ее отца.)

Кто же, как не друг, который был братски привязан к покойному, должен посвятить ей свою жизнь, употребить все усилия, чтобы она не только не испытывала нужды, а, напротив, жила бы в довольстве, в достатке?

О браке до окончания университета нечего, правда, и думать. Но он сейчас же прибегнет к содействию Срезневского, чтобы получить место в редакции журнала. Не поможет Срезневский, он обратится к Никитенке. Не выйдет с Никитенкой, он сам отправится к издателю «Отечественных записок». Если же и там не получится, то в «Современник». Наконец, если всюду постигнет его неудача, он может обратиться к папеньке, объяснить ему положение, и уверен, что тот поймет его, пойдет навстречу. (Маменька — та бы воспротивилась, может быть, но отец — это воплощение доброты и душевного благородства.)

Значит, так или иначе, средства все же будут найдены, а дальнейшее рисовалось ему так: «Я бываю у нее редко потому, что бывать часто нехорошо для ее репутации, и потому, что я сам не должен подавать никому повода догадываться о наших отношениях и о романтической привязанности к покойному, а если я буду часто бывать, это нельзя будет скрыть (где я бываю) от своих» (то есть от Терсинских, от Раева и Писарева).

Когда он умирает, я ничего никому не говорю, не показываю ровно никакого признака, никто, кроме меня, не должен из нашего круга знать об этом; итак, я редко у нее бываю, ничего не говорю ей о наших отноше-

ниях — если можно, она не должна знать и о том, чьи это деньги, должно стараться об этом... Жить должно ей одной, взяв к себе какую-нибудь старуху... Когда я кончу курс, устраиваю все свои дела, решаюсь на бракосочетание...»

Но тут полет его фантазии вдруг обрывался. Мечты, занесшие его слишком далеко, рассеивались. Он называл себя Маниловым, готов был смеяться над собой. Разве все зависит лишь от его предложения? Как может он думать, что она непременно согласится? Это, во-первых. Потом, как отнесутся к его решению родители: не будет ли с их стороны отпора? Предположим, впрочем, что не будет... Есть еще одно весьма серьезное сомнение: будет ли сам-то он доволен и счастлив?

С некоторых пор он начал замечать, что прежнее его благоговение перед нею исчезает. Нет уже того ореола, каким она была окружена в его глазах еще два-три месяца назад, когда одна мысль о том, что он увидит ее, делала его счастливейшим человеком на свете и когда ему казалось, что трудно найти в мире женщину, подобную ей.

Правда, попрежнему он продолжает ощущать обаяние ее красоты. Даже в альбоме «Les femmes de la Bible», обнаруженном однажды на столе у Терсинского, не встретилось ему ни одного изображения, которое решительно затмило бы красоту Надежды Егоровны. Разве что вот только Аталия, жена Иорама, царя Иудейского?.. Но нет, нет!..

Как и прежде, на возвратном пути из университета, заходит он иногда на Невский, чтобы взглянуть на новые картины в окнах магазина Дациаро.

И тоже еще не было, кажется, случая, чтобы чье-либо изображение, виденное там, показало ему более привлекательным.

А все-таки ореола и прежнего благоговения уже нет. Не потому ли, что внутренний мир Надежды Егоровны раскрылся ему во всей своей несложности?

Считать ее существом высшего порядка он уже не мог. Обыкновенная, хоть и хорошая, но весьма обыкновенная женщина, без образования, без стремлений к чему-то высшему.

Точь в точь, как рисовал ее Чернышевскому много раз ее собственный муж.

Втайне Чернышевский и прежде иногда подозревал это и опасался, — нет, мало сказать — опасался, просто трепетал порою, — что вдруг откроет в ней что-то разочаровывающее, хоть одну какую-нибудь пошлую черту, неверную, резкую линию в ее внутреннем облике. Но если и случалось ему тогда подмечать в ней что-либо в этом роде, то он тотчас же гнал от себя эти мысли, разубеждал себя, как бы стыдясь внезапного неверия. Но теперь подобные мысли возникали все чаще, и рассеять их сразу удавалось далеко не всегда.

Глава тридцать восьмая

Больно и тягостно было смотреть на Лободовского. Нужда не давала ему передышки. Дело дошло до того, что он продал на толкучке сначала икону, потом свое обручальное кольцо, потом серьги с подвесками, сказавши жене, что отнес поправлять их.

Квартирохозяин Лободовского работал помощником режиссера в театре. Рассчитывая на его содействие, Лободовский решил попытаться попасть хоть в актеры. От родных Надежды Егоровны это намерение пришлось утаить, потому что отец ее терпеть не мог лицедеев и не раз говорил, что все актеры прокляты богом.

Начавши хлопоты, Василий Петрович дошел, по совету хозяина, до таких известностей и корифеев, как Сосницкий и Каратыгин 2-й.

Не сразу угадывает человек свое призвание! Ведь и сам Сосницкий готовился сначала стать танцором, потом вознамерился сделаться машинистом в театре. Из-за кулис на сцену вытащил его Шаховской. Знаменитый Мартынов — и тот растирал краски декоратору Каноппи... Да сколько еще таких примеров!

Проходила неделя за неделей, а испытание все откладывалось то за отъездом директора, то за болезнью режиссера. Наконец оно состоялось. Накануне его Лободовский очень волновался: «Не дай Бог, если неуспех. Не дай Бог...» — говорил он Чернышевскому.

Проникновенно и с жаром прочитал Василий Петрович на испытании монолог Чацкого и лирические отрывки из «Мертвых душ».

Судьи, как ему показалось, были невнимательны и холодны. Слушая его, озабоченный режиссер не переста-

вал все время что-то тихо твердить про себя, готовясь к репетиции, а директор раза два выбегал на чей-то зов, оставляя испытуемого в растерянности и недоумении.

Однако напрасными были его сомнения. Вскоре выяснилось, что он получил вполне хорошую оценку, а через некоторое время ему предложили в театре место с небольшим для начала годовым жалованием.

Но, должно быть, не судьба была Василию Петровичу попасть и на подмостки. Поразмыслив, решил он отказаться от этой карьеры, тем более, что блеснула тогда перед ним новая надежда и лучшая возможность устроиться.

Русскому послу в Штутгарте, князю Горчакову, ставшему впоследствии министром, светлейшим князем и канцлером, понадобился учитель для сына, в отъезд.

В одной семье, где Чернышевский и Лободовский часто бывали у своего товарища по курсу, хорошо знали людей, вхожих в свою очередь к близким знакомым князя.

Вся эта цепь знакомств зашевелилась, пришла в движение, чтобы в конце концов Василий Петрович был рекомендован Горчакову.

Сам Лободовский отнесся сначала к этой затее чрезвычайно скептически и даже с раздражением.

— Вздор это,—сказал он Чернышевскому, старавшемуся подбодрить его.—Как можно, чтоб князь не нашел человека с дипломом?

Но постепенно дело стало принимать все более благоприятный для Лободовского оборот. Горчаков выразил желание повидать его. Тогда друзья условились между собою, что в случае удачного исхода Василий Петрович поедет за границу первоначально один, а Надежда Егоровна приедет спустя полгода, причём сопровождать ее до Штутгарта будет Чернышевский.

— Вы окажете мне неоценимую услугу,—говорил ему Лободовский.—На первых порах князь не должен знать, что я женат и что оставляю жену в России.

Свидание с князем еще более укрепило эти надежды. Лободовский был восхищен его умом и обходительностью.

— В первый раз встречаю между нашими вельможами такого: он говорит, что весьма много заботится о воспитании своих детей. Просил бывать у него чаще, как мож-

но чаще, чтобы мы могли,—говорит,— с вами познакомиться получше. Спрашивал: занимаюсь ли литературою? Я сказал — да, и теперь должен понести к нему показать что-нибудь; это-то именно мне и подает надежду, что он разборчив, поэтому станет смотреть не на аттестаты.

Лободовский удивительно быстро переходил от уныния к воодушевлению, но оно так же скоро угасало в нем, как загоралось. Первое же препятствие заставляло его колебаться, а не удваивать усилия.

Между тем мысль об устройстве друга не покидала Чернышевского, господствуя скрыто над всеми его мыслями. Вот, кажется, и занят он другими вещами и думает не об этом, а на деле все то же, все о том же: как выручить Василия Петровича, как облегчить его положение? В Штутгарт Чернышевский почему-то не очень верил. Даже поступление Лободовского на сцену представлялось ему более вероятным.

Однажды, просмотрев в кондитерской журналы, он прошел из «газетной» комнаты в следующую, посреди которой стояло подряд несколько бильярдных. Вдоль стен тянулся узкий турецкий диван, обитый красным бархатом. Раньше Чернышевскому не случалось заходить сюда.

Человек двенадцать зрителей, расположившись на высоком диване, с интересом наблюдали за искусной игрой худощавого грека в хорошем костюме и в феске, который ловко и точно клал труднейшие шары. Партнер его, дородный господин лет сорока пяти, то и дело прохаживался от бильярда к окну, выходявшему на Невский. Видно было, что он сильно озадачен большим проигрышем.

И вот тут-то вспомнил Чернышевский, что еще давно когда-то Василий Петрович говорил ему о своем умении играть на бильярде. Так не сделать ли хоть это источником дохода? Есть же люди, которые, можно сказать, не выходя из кондитерской, легко зарабатывают на безбедное существование игрою на бильярде или в шахматы. Чем же Василий Петрович хуже их?

На следующий же день, сидя вечером у Лободовского, он не замедлил, как бы невзначай, спросить его: хорошо ли тот играет на бильярде?

— Нет,—сказал Лободовский и потом, помолчав, добавил: — Это пробуждает во мне дрожь. То была самая

мрачная эпоха в моей жизни, когда я играл на бильярде... —И, ничего не пояснив удивленному другу, сразу перешел к разговору о будущей службе у Горчакова: — Надя говорит, что поедет в Штутгарт, если вы проводите ее...

Эта уверенность Василия Петровича заразила Чернышевского, и незаметно для самого себя он опять принял мечтать о том, как будет посещать Надежду Егоровну, когда она переедет к отцу. Она охотно будет принимать его потому, что он — лучший друг ее мужа и ей приятно говорить с ним о Василии Петровиче... В продолжение разлуки он все время будет поддерживать с ним переписку... (Любопытно: станет ли правительство распечатывать и просматривать письма или нет?)

Так проходит полгода, наступает июнь, и он провожает Надежду Егоровну в Штутгарт... Радость встречи с Василием Петровичем... Что касается папеньки и маменьки, то они, безусловно, разрешат ему заграничную поездку, полезную для его кругозора. Остается одно препятствие—получение заграничного паспорта, в котором могут и отказать, потому что он не окончил еще курса и не достиг двадцатипятилетнего возраста.

Он плохо представлял себе, как это все уладится. И потом еще рождалось сомнение: что если вдруг Василий Петрович не его, росомеху, попросит проводить Надежду Егоровну, а кого-нибудь более опытного, предусмотрительного, расторопного? И снова он называл себя чудаком, фантазером, Маниловым... Не проще ли поступить Василию Петровичу в театр, снять хорошую квартиру, приняться за образование Надежды Егоровны?

Очередное начинание Лободовского завершилось, как обычно: провалом, — именно тогда, когда он считал свой отъезд в Штутгарт делом решенным и верным.

Горчаков проведаль все-таки, что Василий Петрович женат.

— Вы человек семейный... Это одно уже уничтожает всякую возможность, — заявил ему князь.

Лободовский попробовал было возразить, что жена остается в России...

— А это противно моим правилам, — отвечал Горчаков, — и притом я уверен, что вы женились по любви, следовательно, вам захочется увидеться с нею...—И князь

извинился, что невольно причинил Василию Петровичу напрасное беспокойство.

Штутгарт провалился, как отпало прежде место в Управе благочиния, как сорвалось поступление в театр и прибыльная игра на бильярде...

Попробовать еще разве шахматы?

У Чернышевского оставалась неясная надежда, что, сражаясь с Василием Петровичем, они выучатся между делом играть так, что каждый из них сможет при желании зарабатывать этим деньги в кондитерской Излера.

Еще на святках он старательно разграфил доску, теперь надо было подобрать самые фигуры. Не желая тратиться на покупку новой дорогой партии шахмат, он отправился на толкучку на поиски подержанной или сборной игры.

В лавке, где толпилось много народа, он спросил сначала шашки, но потом, доплатив тридцать пять копеек серебром, взял подержанный комплект шахматных фигур, выкрашенных в голубой и красный цвета.

Придя домой и пересчитав фигуры, он обнаружил, что недостает красной пешки и голубого коня. Досадуя на свою совесть, помешавшую ему спокойно проверить в лавке наличие всех фигур, он вернулся все-таки обратно и долго дожидался, пока купец обратит на него внимание.

Выслушав его, тот побранил слегка мальчика: «Зачем же ты подаешь неполные?» и велел заменить игру.

Выбравшись из лавки и отойдя немного в сторону, Чернышевский сел и пересчитал фигуры. Снова не доставало голубой пешки, но возвращаться было неудобно, и он побрел домой.

Только по дороге пришло ему в голову, что он мог незаметно уронить пешку там, где сидел, пересчитывая фигуры. Действительно, воротившись, он нашел ее и порадовался, что не явился вторично в лавку.

Купив затем дорогое, но не лучшее руководство, он усердно принялся изучать теорию игры, анализировал партии, решал задачи, изо дня в день играл один, потом обучил кое-как Любиньку и Ивана Григорьевича, но увлечь игрою Лободовского ему так и не удалось.

Василий Петрович подолгу раздумывал над каждым ходом, играл вяло и не изобретательно, колебался, прежде чем решиться на какой-нибудь смелый шаг, и потому де-

лал его всегда с опозданием. Проигрывая, он напускал на себя искусственно-равнодушный вид и говорил, что предпочитает шахматам шашки, как игру, менее замысловатую и не поглощающую столько времени.

Конечно, о том, чтобы Василию Петровичу играть у Излера да еще извлекать при этом какую-нибудь выгоду, нечего было и думать.

Да, но есть, наконец, еще одна возможность, о которой Чернышевский все чаще и чаще думал теперь: почему бы не попробовать им с Лободовским свои силы на журнальном поприще? Он был уверен, что Василий Петрович пишет, судя по некоторым смутным намекам его. А если так, то пишет, разумеется, хорошо — при его уме и таланте он не может писать заурядно.

Надо непременно выведать, над чем он трудится, надо вызвать его на откровенность, заставить почитать...

Как-то представился удобный случай заговорить об этом. Зайдя к Лободовскому, он застал его дома одного. Как только Чернышевский вошел, тот стал поспешно собирать разложенные на столе бумаги.

— Я помешал вам... вы писали?..

Василий Петрович начал было слабо отнекиваться, а потом вдруг спросил:

— Ну, а вы пишете?

— Как же, пишу... и уже третью часть романа теперь пишу, — солгал Чернышевский потому, что ему очень хотелось вывести Лободовского на чистую воду.

— Ну, прочитайте мне, — попросил Лободовский.

— Тогда и вы прочитаете?

— Конечно.

— Ну, так я когда-нибудь прочитаю. Только что? С начала или самые лучшие места? — сказал Чернышевский, несколько смущенный тем, что обман его не удался и что ему действительно придется все-таки впоследствии написать и прочесть Лободовскому если не всю повесть, то, по крайней мере, отрывки из нее.

— Как хотите... — бросил Лободовский полушутя, полусерьезно.

Разговор этот запал Чернышевскому в душу, и, возвращаясь в тот вечер домой, он размышлял над тем, как он перестроит наброски своего рассказа о любви молодого Гёте к Лили, сделает менее сентиментальной сцену окон-

чательного разрыва и разлуки поэта с Лили, проследит все перипетии внутренней борьбы влюбленного Гёте, может быть, расширит даже рассказ до размеров романа.

«Напишу, так напишу, не будет писаться далее, так напишу только начало, чтобы прочитать Василию Петровичу, и меня несколько не оскорбит, если будет дурно, потому что я не сомневаюсь, что, может быть, я не одарен этой способностью или еще слишком молод и неопытен, но, может быть, будет и хорошо»,—убеждал он себя, припоминая лестный отзыв Никитенки о той части его работы, в которой были очерчены характеры родителей Гёте.

— У вас есть логический строй, порядок и простота, — сказал ему в другой раз Никитенко.

«Итак, верно, буду писать, — решил он. — Посвящу этому свободное время рождественских каникул». Несколько беспокоило его, правда, то, что в редакции «Отечественных записок» он уже потерпел однажды неудачу. Но ведь — сегодня так, а завтра иначе... Вдруг его ждет успех... Во всяком случае надо попробовать попасть в журнал, ободрить своим примером Василия Петровича, возбудить его решительность, показать ему дорогу, завязать связи в журнальном мире, которыми воспользуется, может быть, и Лободовский.

Глава тридцать девятая

Незадолго до Нового года Раев, зайдя за Чернышевским, уговорил его отправиться вместе с ним к саратовцу Ивану Васильевичу Писареву, у квартирохозяйки которого предстоял традиционный вечер с танцами, ежегодно устраиваемый ею на святках по случаю какого-то семейного торжества.

Не ожидая там для себя ничего, кроме скуки, Чернышевский шел весьма неохотно, потому что не умел танцевать и знал, что придется просидеть весь вечер где-нибудь в углу, молча уставившись на танцующих.

Предвидение его, конечно, вполне оправдалось. Может быть, и завлекало-то его Раев для того только, чтобы блеснуть перед ним своим нехитрым умением обходиться с дамами, танцевать, кроме кадрили, еще и польку-мазурку и вальс, любезничать с нетребовательными девица-

ми из бедных чиновничьих семей, обитающих в низенных невзрачных домишках на Петербургской стороне.

Но, странное дело, этот ничтожно-скромный, жалкий семейный бал так врезался в сознание Чернышевского, что он навсегда сохранил его в памяти. Пятнадцать лет спустя, находясь в одиночном заключении в Петропавловской крепости, он мог отчетливо до мельчайших подробностей воссоздать этот не отмеченный решительно никаким происшествием вечер.

По деревянным мосткам пустынной улицы добрались они до ветхого двухэтажного домика, где квартировал их земляк.

Все общество было уже в сборе. Оно состояло, главным образом, из близких домашних и их друзей. Зятя и дочери хозяйки, сыновья ее со своими женами, две дочери на выданьи и дальние родственники.

Стеариновые свечи отбрасывали мерцающий свет на скучное убранство залы.

Танцы начались вскоре после чая. Танцевали под фортепиано, за которое по очереди садились две младшие дочери хозяйки—Марья и Прасковья, чрезвычайно похожие одна на другую, первая—в розовом кисейном платье, а другая—в платье телячьего цвета.

Горбоносый, худой чиновник, муж старшей дочери, пиликал на дешевенькой скрипке, храня во время игры неподвижно застывшую улыбку на усталом лице. Танцующих было не более шести пар. Интереснейшим среди кавалеров был Раев, который умел занять девиц литературным разговором, продекламировать четверостишие—другое Пушкина, Лермонтова, тогда как мысли остальных кавалеров даже и во время танцев были целиком погружены в неостывшие еще воспоминания о служебном дне. И потом Раев, в отличие от других кавалеров, танцевал в перчатках...

— Кто из поэтов нравится вам больше всех?—спросил он свою даму в кадрили.

— Крылов...—неуверенно и не сразу ответила она.

— Нет, я люблю больше Пушкина,—сказал он и тут же прочел ей первые десять строк из «Медного всадника», которые знал наизусть.

Ей понравилось:

— Прочтите еще что-нибудь...

Но, кроме этого, он помнил наизусть из Пушкина одно только четверостишие:

Фонтан любви, фонтан живой,
Принес я в дар тебе две розы...
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы...

После того, как он продекламировал ей начальные строки лермонтовского «Хаджи-Абрека», разговор о поэзии стал угасать. Но Раев не растерялся и стал рассказывать даме, как он учится говорить по-французски.

Перчатки... фонтан любви... французский язык. Решительно, он был львом этого вечера...

Чернышевский, стоявший долгое время у какого-то косяка, от которого уже отчаялся и отойти, постепенно перешел все-таки, собравшись с духом, ближе к танцующим и попытался заговорить о чем-то с толстощеким ветеринарным студентом. Тот отвечал рассеянно и неукладно, потому что внимание его было приковано к брюнетке, с которой начал теперь танцевать Раев, оставивший поклонницу поэзии Крылова.

Брюнетка была небольшого роста, хорошо сложена. Ее вишневые губы дышали чувственностью. Высоко заколотая сзади густая коса придавала ей несколько гордый вид. Нельзя было действительно не залюбоваться ее изящной маленькой рукой в палевой перчатке, ее стройным станом и необыкновенно живым взглядом каштановых глаз.

В это время пары в польке с ровными интервалами проносились мимо Чернышевского. Ему бросилось в глаза, что молодые люди, заботясь о танцклассских вывертах, как-то пошло привиливали ногой. Девушки танцевали куда грациознее, особенно в одной фигуре, когда движения танцующих пар, проходивших одна мимо другой, внезапно на миг ускорялись при повороте, и в этом было что-то одушевляющее и красивое...

В половине одиннадцатого гостям предложили по рюмке хереса и скромную закуску. Некоторые из них стали затем расходиться. Танцы на время прервались, потому что звезда бала—брюнетка, жена старшего хозяйского сына, удалилась в другую комнату укладывать ребенка. С ее уходом в зале стало сразу пусто и словно бы темнее. Марья и Прасковья Константиновна, стремясь заполнить пустоту, усердно и без усталости играли на фортепиано.

но. Чернышевский уселся, притворившись внимательно слушающим их игру, чтобы потом сказать им что-нибудь приятное, хотя бы польстить им. Ему было очень жаль бедных девушек, которые дожидались этого вечера целый год, а вечер проходил вовсе не так оживленно, как им, должно быть, хотелось.

Он слышал, как хозяйка, сидевшая рядом с Писаревым, сказала, обращаясь к нему: «Нынешний вечер не так удачен, как в прошлом году. Вы помните, Иван Васильевич, как тогда весело и шумно было, особенно когда пришли ряженые?»

Чернышевский выжидал удобный момент, чтобы подойти к девицам и поблагодарить их за игру. Это придало бы ему хоть какое-нибудь значение в их глазах (он был очень недоволен своею ролью оцепеневшего зрителя). Всякий раз, как он намеревался пойти благодарить, легкая дрожь начинала пробегать у него по коленям. Наконец он решился и уже сделал шаг в их сторону, но в эту минуту из соседней комнаты показалась царица бала, затихавшая игра Прасковьи сама собою перешла в галоп, сразу составилось четыре пары, и снова начались танцы.

Муж этой молоденькой женщины, скучный канцелярский чиновник, все время неодобрительным, колющим каким-то взглядом следил за тем, как она танцевала, ни разу не взглянув на него и словно совсем позабыв о его существовании.

Через полтора десятка лет в одиночной камере Алексеевского равелина томительным осенним вечером Чернышевский вспомнил об этом бале, и она представилась ему, как живая. Он видел ее разгоревшиеся щеки, блеск ее глаз, слышал ее неровное дыхание в ту минуту, когда она говорила Раеву, что ей очень весел этот вечер, что она весь год помнила прошлогодний вечер и что: «как жаль, что до этого вечера в следующем году остается с нынешнего дня еще целый год...»

«И я подумал, что эти слова сколько-нибудь относятся к тому, кому говорятся, и еще пожалел было, что ей бедненькой не привелось хоть так немножечко, как этого моего (бывшего) сожителя, полюбить кого-нибудь хоть немножечко покрасивее лицом, поизящнее его манерами и разговорами, умеющего танцевать получше, носящего перчатки почище и видеться с человеком, вид

которого ей несколько мил, хоть несколько почаще, чем раз в год.

А не было даже и этого маленького счастья, такого скудного и плохонького, которое мне казалось жалким,—что ж это за холодная, темная пустыня, по которой жизнь ведет эту пылкую хорошенькую женщину, эту миленькую женщину, которой так шло бы хоть немножко видеть счастья!»

Так писал он в крепости по прошествии пятнадцати лет об этом вечере у хозяйки своего земляка...

Возвращался же он взволнованный, недовольный своим бессловесным поведением, и думал о необходимости «знать много вещей, от знания которых раньше отказывался, и раньше всего танцовать необходимо, решительно необходимо».

Потом необходимо играть на фортепиано или на чем-нибудь — это менее, но все-таки очень хорошо было бы, чтоб иметь возможность обслуживать этим добрым людям.

Потом мне кажется, что должно было бы уметь рисовать... а то вот хотелось бы сохранить лицо этой жены сына, а между тем я не могу этого сделать...

Потом необходимо говорить по-французски и немецки, потому что я все более и более чувствую, что начинается новый период в моей жизни...»

Глава сороковая

Лютый мороз стоял накануне Нового года. Окна в зале замерзли, холод проникал даже в маленькую комнату, в которой обычно было теплее, чем в других.

Чернышевский сидел в шинели и, скучая, то раскрывал свой дневник, то начинал играть в шахматы сам с собою, то рассеянно перелистывал книги. Он чувствовал недомогание, его лихорадило, спину ломило, как после долгой ходьбы.

Несколько раз принимался он за «Историю английской революции» Гизо, но, просмотрев пять-семь страниц, снова закрывал книгу. Прочитанное плохо укладывалось в памяти. Отложив в сторону Гизо, пробовал он занять себя чтением журнальных очерков и повестей, то есть «дряни», как привык он называть журнальную всячину, но и это чтение не клеилось, не развлекало его.

Игра в шахматы без партнера отнимала у нее всю присутствующую ей остроту. Условность такой игры несколько ограничивала фантазию, лишая ее естественности и свободы. Он отодвинул доску с фигурами и снова раскрыл свой дневник.

Надо было подвести итоги уходящего года, взвесить их, выделить главное. Он взялся за перо, но писать стало лень и в голову пришло другое. Глядя на тетради, написанные бисерно-мелким, необычайно сжатым почерком, на эти сливающиеся, торопливые записи, сделанные с помощью четырех алфавитов — русского, греческого, латинского и даже арабского, по системе понятных только ему самому замен и сокращений, где многие слова обозначались лишь буквами или особыми знаками, он думал о судьбе этих зашифрованных дневников и о своей будущности.

Не в первый раз являлось у него сожаление, что никто другой не сможет прочитать его записок, если он умрет, не успевши разобрать их и перевести на общечитаемый язык.

Он предчувствовал, что не останется в разряде людей обыкновенных, более того, он понимал уже, что его ждет большая будущность, что он станет человеком замечательным, — так разве не следует сохранить для биографов эти записки?

Он улыбнулся мягко, чуть-чуть даже насмешливо при мысли, что ведь ключом к ним может послужить, пожалуй, лермонтовская «Княжна Мери», которую он недавно, «для успокоения», переписал всю сокращенно по такой же точно методе, изобретенной им еще в Саратове лет пять тому назад...

Мог ли он предполагать тогда, что не биографы будут первыми трудиться над расшифровкой его дневников, а что начало этому уже через какие-нибудь тринадцать лет положат, по просьбе полиции, опытные чиновники министерства иностранных дел, которых призовет на помощь Третье отделение?

Кроме судьбы записок, беспокоила его еще судьба проекта изобретаемой им машины вечного движения, с которой, главным образом, и связывались еще с детских лет мечты об ожидавшем его бессмертии.

Надо бы привести на всякий случай в порядок все чертежи этой машины, доработать их.

До сих пор он не сделал еще ни одной доведенной до конца попытки построить ее модель, а только вынашивал в голове проект, в осуществимость которого верил нерушимо. Помимо основного плана, мысли его были заняты одно время побочным проектом, довольно близким в общих чертах к проекту прибора, изобретенного как раз в 1848 году Гаррисом¹.

Известие об этом изобретении Гарриса, вычитанное Чернышевским в хронике «Отечественных записок», в первую минуту смутило его — оно отнимало у него право на первенство.

Ведь он думал построить нечто схожее с этим прибором, используя только вместо вращающегося Брегетова термометра длинный цинковый прут, один конец которого должен был быть прикреплен, а другой бы растягивался и сжимался.

После этого Чернышевский с еще большим усердием стал размышлять над своим изобретением. Что-то станет с его машиной?

Чем ближе знакомился он теперь с фантастически смелыми разнообразными планами мыслителей, задавшихся целью облегчить существование человечества, тем реальнее казалась ему возможность утвердить и упрочить когда-нибудь всеобщее счастье изобретением вечного двигателя.

Будущее... оно рисовалось ему еще не ясно... Кем он будет? — Философом или ученым, писателем или политиком? Кому он будет равен? Порою внутренний голос говорил ему, что, может быть, именно он придаст когда-нибудь решительно новое направление науке, духовной жизни человечества, что имя его станет благодаря этому в одном ряду с именами Платона, Коперника, Ньютона, Гегеля...

Такие люди оставляют наследие векам, дают работу целым поколениям: сотни талантов трудятся потом над тем, чтобы найти приложение их идеям во всех отраслях знания.

А ведь он не сделал еще ничего осязательного и готов был ядовито корить себя за это, считая возраст свой обязывающим уже ко многому...

¹ В приборе Гарриса показатели температуры механически заносились на бумагу, накрученную на цилиндр, вращающийся с помощью часового механизма, заводимого на неделю.

Луи Блану было чуть больше двадцати лет, когда он выступил как глава партии и стал одним из первых людей в стране... Или взять пример из другой области. Известно, что представлял собою Гёте в двадцать лет... Такие сопоставления заставляли его страдать.

В чем же залог его собственного будущего бессмертия? Где оно?

И не лучше ли выйти на дорогу обыкновенной ученой деятельности, вместо того чтобы предаваться пустым мечтам о бессмертии?

Как часто те, кто считает почему-то унижением для собственного достоинства трудиться над обыкновенными вещами, а мирятся лишь на том, что они призваны создать восьмое чудо, в итоге погружаются в заурядную бездеятельную жизнь фантазеров.

Пора же начать действовать, пора сблизиться с Никитенкой или Срезневским, попасть при их содействии в журнал, печатать свои ученые труды и неуклонно двигаться вперед и вперед, завоевывая известность и положение, возможность жить и работать. Впоследствии он станет в ряду крупных историков или филологов, таких, как Гизо или Гумбольдт. Так ли уж это мало, если честно спросить себя?..

Он старался оттеснить на второй план мечты о великом пути, хорошо сознавая, что только поверхностному взгляду такой путь кажется прямым и сразу открывающимся.

Глава сорок первая

У студентов интерес к политике стал заметно угасать по мере того, как борьба во Франции принимала все более плачевный для революционеров оборот. Редко теперь слышались политические разговоры, которые еще весною постоянно поддерживал между студентами малознакомый Чернышевскому морской офицер, приходивший время от времени на лекции Куторги.

Уловив перемену в настроении молодежи, он стал реже и реже появляться в университете, а потом и вовсе надолго исчез с горизонта, о чем Чернышевский жалел, потому что намеревался как следует познакомиться и сблизиться с ним.

Это нараставшее вокруг безразличие к политической жизни не коснулось Чернышевского. Напротив, его интерес к ней углублялся и становился острее. Редкий день проходил без того, чтобы не заглянул он, хотя бы на полчаса, на час, в «газетную» комнату кондитерской Вольфа. С неподдельным волнением и трепетом следил он за быстрой сменой событий в потрясенной Европе. Но, кроме того, ему хотелось как можно полнее изучить новейшую историю, которая пролила бы свет на все происходящее, показала бы истинные цели и намерения современников, помогла бы раскрыть подлинный смысл совершающегося: «Как в самом деле не знать, что и кто теперь действует на свете, и что думать, и за кого бояться, кому сочувствовать, чего надеяться?»

Он не поленился параграф за параграфом переписать все статьи принятой Национальным собранием конституции Второй Республики, как только конституция эта появилась в «*Journal des Débats*».

С бьющимся сердцем он вырвал однажды в кондитерской листок из *Illustrirte Zeitung*, в котором были перечислены партии и лидеры их во Франкфуртском собрании.

«Только бы не заметили... Не дай бог, заметят», — мелькало у него в голове, пока он дрожащими руками прятал в карман сложенный вчетверо листок газеты. Через день робко вошел он ранним утром в ту же кондитерскую и смущенно спросил не газету, а «Отечественные записки», стараясь угадать: обнаружено ли его преступление? От этой тревожной мысли его отвлекло только чтение «Замогильных записок» Шатобриана, напечатанных в журнале. Дышащее жизнью описание поэтической любви к Miss Ives так понравилось ему, так захватило его, что он не вытерпел и, нагнувшись, незаметно поцеловал то место страницы, где говорилось: «Когда ты будешь читать это, я буду уже перед Богом...»

Впервые натолкнувшись в одном французском альманахе на портреты Барбеса, Фурье и Жорж Занд, он тотчас загорелся желанием срисовать их. Особенно лицо Жорж Занд понравилось ему, оттого, может быть, что он вообще был «расположен дивиться хорошим людям». Не надеясь на свой талант, он принялся срисовывать портреты через прозрачную бумагу и очень огорчился

потом, что ничего не получилось, что лица вышли непохожими, совершенно безжизненными, несмотря на все его старания перенести на бумагу каждую черточку и каждый штрих портрета.

Богатейшее разнообразие эмоциональных оттенков, которыми окрашено отношение юноши Чернышевского к идеям, к событиям, к действующим на исторической арене лицам, поразительно. Можно подумать, что речь идет не о государствах, не о нациях, классах и партиях, не о философских доктринах и социальных программах, а о самых близких ему людях, о делах, непосредственно касающихся его самого, заставляющих его то восторгаться, то благоговеть, то раздражаться гневными тирадами, то благословлять, то презирать и ненавидеть, то даже, наконец, молиться и плакать.

С каким энтузиазмом и даже благоговением говорит он о самоотверженных и смелых поступках революционеров, о мужестве их и твердости, которые поразили мир.

Гневные восклицания вырываются у него по адресу тогдашних усмирителей народных волнений во Франции, Германии, Австрии, Италии и Венгрии. Смертельной ненавистью ненавидит он Кавеньяка, Виндишгреца, Радецкого. «Прусское правительство подлецы, австрийское — подлецы, но этого названия для них мало, я не нахожу слов, чтобы выразить то отвращение, которое я питаю к убийцам Блюма»¹.

Чернышевский был потрясен казнью Роберта Блюма. Мысль об этом вопиющем злодеянии не дает ему покоя.

Поистине библейским пафосом проникнуто проклятие, которое шлет он убийцам Блюма: «Да падет на их голову кровь и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей!..»

Неотвязные мысли о смерти Блюма заставили его припомнить слова Франсуа Шабо: «Убейте меня и подкиньте мой труп реакционерам, чтобы народ восстал против них».

Со всею остротой встала впервые тогда перед молодым Чернышевским тема жертвы. Эти примеры укреп-

¹ Член Франкфуртского национального собрания демократ Роберт Блюм, делегированный в революционную Вену, был после взятия Вены Виндишгрецом приговорен к смертной казни, несмотря на депутатскую неприкосновенность.

ляли собственную его решимость и готовность отдать всю свою жизнь для блага закрепощенного народа.

«Когда хорошенько вздумал об этом и приложил все это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства уничтожения нищеты и порока, если б только был убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только буду в этом убежден».

Уже тогда основанием его взгляда на жизнь стала мысль, что если человек решается на благородный поступок наперекор личным интересам, эгоистическим расчетам и наклонностям (или страстям, говоря языком Фурье), то они не покидают его, а «переходят в это его состояние и прилепляются, как могут, к его поступку и стараются и здесь найти удовлетворение». Желания, подчиняясь долгу, сливаются с ним и находят в этом состоянии гармонию. Дело всей последующей жизни доказал Чернышевский, что его юношеские мечты о жертве были не порывом мимолетного благородства, а твердым убеждением в том, что «человек, самоотвергающийся из разумных целей; всегда пожертвует собою для них». Это — главная тема его первых, так и не увидевших света юношеских повестей.

Через много лет он всесторонне развил эту тему в романе «Что делать?» Но еще в юности мысль его билась над решением вопроса: как согласить убеждения с поступками, как сбросить с себя иго непоследовательности поведения и неразрывно слить свои взгляды с жизнью?

К о н е ц п е р в о й к н и г и

4 руб. 50 коп.



119